

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



И. А. Бунин
**ЧИСТЫЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК**



Школьная библиотека (Детская литература)

Иван Бунин

Чистый понедельник (сборник)

Издательство «Детская литература»

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Бунин И. А.

Чистый понедельник (сборник) / И. А. Бунин — Издательство
«Детская литература», — (Школьная библиотека (Детская
литература))

ISBN 978-5-08-005426-6

Творчество выдающегося русского писателя, замечательного мастера слова
представлено в сборнике избранными повестями и рассказами. Для старшего
школьного возраста.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-08-005426-6

© Бунин И. А.
© Издательство «Детская литература»

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Иван Бунин[1] | 6 |
| Чистый понедельник | 13 |
| На край света[2] | 13 |
| Антоновские яблоки[4] | 18 |
| Сосны[7] | 27 |
| Золотое дно[8] | 33 |
| Далекое[9] | 38 |
| Цифры[10] | 42 |
| Суходол[11] | 48 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 65 |



Ив. Бунин

1870—1953

Иван Алексеевич Бунин

Чистый понедельник

- © Паустовский К. Г., наследники, вступительная статья, 1901
- © Бабореко А. К., комментарии, 1998
- © Саакянц А. А., комментарии, 1998
- © Титова В. Г., комментарии, 1998
- © Бирюков Л. Д., наследники, иллюстрации, 1998
- © Составление. Издательство «Детская литература», 1998
- © Оформление серии. ОАО «Издательство «Детская литература», 2016

* * *

Иван Бунин¹

Как ни грустно в этом непонятном мире, он все же прекрасен...
И. А. Бунин

Еще в гимназии я начал зачитываться Буниным. В то время я мало знал о нем. Кое-что я узнал из автобиографической заметки, написанной самим Буниным для «Словаря писателей» Венгерова. Там было сказано, что Бунин провел свое детство в деревне, где-то между Ельцом и городком Ефремовом (в тогдашней Тульской губернии), а потом учился в Елецкой гимназии.

В холодном апреле 1916 года я впервые приехал в Ефремов к родственнице – одинокой старушке. Она звала меня погостить у нее и отдохнуть после моих скитаний по югу.

Старушка учительствовала в Ефремовской городской школе. Как все учительницы, она часто болела ангиной. Лечилась она всякими способами, даже по «знахарскому методу Бунина».

– Какого Бунина? – спросил я удивленно.

– Евгения Алексеевича. Брата писателя. Он живет у нас в Ефремове. Открыл способ лечить ангину. Натирает шею сухой беличьей шкуркой, и ангина тотчас проходит. Только мне не помогла эта шкурка. Евгений Бунин – деловой и суховатый господин. Вот брат его, писатель, говорят, человек прелестный, замечательный. Он иногда сюда приезжает.

С той минуты, как я узнал, что здесь бывает Бунин, Ефремов сразу преобразился для меня, хотя вообще-то был городом достаточно унылым. Теперь он представлялся мне воплощением российского провинциального уюта.

Почти все наши захолустные города были схожи друг с другом. Все они, по словам Чехова, были «типичными Ефремовыми», – с запущенными монастырскими подворьями, с землистыми ликами угодников над каменными воротами, с заливистыми колокольцами на тройке исправника, с острогом на выгоне, земским собранием – единственным домом, где у подъезда горел калильный фонарь, с крикливыми галками на кладбищенских липах и глубокими оврагами. Летом в них стенами стояла глухая крапива, а зимой на сером от золы снегу сизо чадили головешки, выброшенные из печей и самоваров.

Тогда в Ефремове вошла в меня бунинская Россия и завладела мной надолго.

Елец был рядом. Я решил съездить туда, чтобы посмотреть этот бунинский город.

С ранней юности у меня была неистребимая страсть посещать места, связанные с жизнью любимых писателей и поэтов. Лучшим местом на земле я считал (и считаю до сих пор) холм под стеной Святогорского монастыря на Псковщине, где похоронен Пушкин. Таких далеких и чистых далей, какие открываются с этого холма, нет больше нигде в России.

Из Ефремова до Ельца ходил рабочий поезд, так называемый «Максим Горький». Я поехал на нем в Елец.

Холодный рассвет застал меня в дребезжащем, старом вагоне. Я сидел под мигающей свечой и читал в растрепанной старой книжке журнала «Современный мир» бунинский рассказ «Илья Пророк».

По своей пронзительной горечи этот рассказ – один из лучших в русской литературе. Каждая подробность, каждая черта этого рассказа (даже «бледные, как саван, овсы») щемила сердце предчувствием неизбежной беды, нищенством, сиротью, ставшими уделом тогдашней России.

От этой России временами хотелось бежать без оглядки. Но редко кто на это решался. Ведь нищенку мать любят и в горьком ее унижении.

¹ Статья печатается с некоторыми сокращениями.

Бунин тоже ушел от своей единственно любимой страны. Но ушел только внешне. Человек необыкновенно гордый и строгий, он до конца своих дней тяжело страдал по России и пролил по ней много скрытых слёз в чужих ночах Парижа и Грасса. Слёз человека, добровольно изгнавшего самого себя из Отечества.

Я ехал в Елец. Тощие зелена тянулись за окнами вагона. Ветер посвистывал в жестяных вентиляторах, гнал низкие тучи. Я перечитывал «Илью Пророка», перечитывал скорбную историю Семёна Новикова, крестьянина Елецкого уезда, Предтеченской волости. И старался понять: как, какими словами, каким волшебством достигнуто это подлинное чудо? Чудо создания короткого и сильного, горестного и великолепного рассказа.

В Ельце я не останавливался в гостинице. Для этого я был тогда слишком беден. Весь день до позднего вечера, когда отходил обратный поезд на Ефремов, я бродил по городу и очень, конечно, устал.

Был серый высокий день. Пошел неожиданный запоздалый снежок. Ветер сдувал его с мостовых, обнажая каменные, избитые подковами и колесами, белые плиты.

Город был весь каменный. Чудилось в этом его каменном облике что-то крепостное. Оно чувствовалось и в пустынности улиц, и в их тишине. Я слышал, что Елец всегда был шумным торговым городом, и удивлялся этому городскому покою, пока не понял, что тишина и малолюдность – следствие войны.

Елец действительно был крепостью. Бунин в «Жизни Арсеньева» говорил о нем:

«...город... гордился своей древностью и имел на то полное право: он и впрямь был одним из самых древних русских городов, лежал среди великих черноземных полей Подстепья, на той роковой черте, за которой некогда простирались „земли дикие, неизвестные“, а во время княжеств Суздальского и Рязанского принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, что, по слову летописцев, первые вдыхали бурю, пыль и хлад из-под грозных азиатских туч...»

Почти каждое слово в этом отрывке доставляет наслаждение своей простотой, точностью, образностью. Чего стоят одни только слова о том, что эти древние города вдыхали бурю и пыль азиатских набегов! Эти слова воскрешают тревожный свист караульных, грохот колотушек по чугунным доскам, призыв всех на городские валы.

Я долго простоял около здания мужской гимназии с каменным двором. В этой гимназии учился Бунин. Внутри было тихо, за окнами шли уроки.

Потом я прошел через базарную площадь, удивляясь обилию запахов. Пахло укропом, конским навозом, старыми сельдяными бочками, кожей, ладаном из открытых дверей церкви, где кого-то отпевали, пахло палым, уже перебродившим листом из садов за высокими серыми заборами.

Я напился чаю в трактире. Там было пусто и холодновато. Из трактира я пошел на окраину города. До поезда оставалось еще немного времени.

На окраине – уходящему в низину длинному и голому выгону – чадили и звенели от ударов по наковальням черные кузницы. Над выгоном белело небо. Рядом тянулась кладбищенская стена.

Я зашел на кладбище. Чуть позванивали и тихо скрипели от ветра побитые фарфоровые розы и жестяные заржавленные листья на погребальных венках.

Кое-где на железных с витиеватыми завитушками крестах с облупившейся масляной краской виднелись коричневые, смытые дождями фотографии в металлических медальонах.

К вечеру я пришел на вокзал. В своей жизни я часто бывал одинок, но редко испытывал такое горькое ощущение неприкаянности, как в тот вечер в Ельце.

Где-то рядом, за стенами домов, в теплых комнатах шла жизнь, может быть, веселая и светлая, а может быть, скудная и молчаливая. Но я был вне этих теплых стен. Я сидел в тускло освещенном зале третьего класса, где воняло керосином и дуло холодом по ногам.

У каждого в жизни бывали странные, порой приятные, порой печальные совпадения. Были они и у меня. Но самое удивительное совпадение случилось в этот вечер на Елецком вокзале.

Я купил в газетном киоске сырой номер «Русского слова». В зале третьего класса из-за темноты читать было трудно. Я пересчитал свои деньги. Их хватало на то, чтобы напиться чаю в ярко освещенном вокзальном буфете и даже дать подвыпившему официанту на чай.

Я сел в буфете за стол около пустого мельхиорового ведра для шампанского и развернул газету...

Опомнился я только через час, когда вокзальный швейцар, мотая колокольчиком, прокричал нарочито гнусавым голосом: «Второй звонок на Ефремов, Волово, Тулу!»

Я вскочил, бросился в вагон и просидел, забившись в угол около темного окна, до самого Ефремова.

Все внутри у меня дрожало от печали и любви. К кому?

К дивной девушке, к убитой вот на этом вокзале гимназистке Оле Мещерской.

В газете был напечатан рассказ Бунина «Легкое дыхание».

Я не знаю, можно ли назвать эту вещь рассказом? Это не рассказ, а озарение, самая жизнь с ее трепетом и любовью, печальное и спокойное размышление писателя, эпитафия девичьей красоте.

Я был уверен, что проходил на кладбище мимо могилы Оли Мещерской и ветер робко позванивал в старом венке, как бы призывая меня остановиться.

Но я прошел, ничего не зная. О, если бы я знал! И если бы я мог! Я бы усыпал эту могилу всеми цветами, какие только цветут на земле.

Я уже любил эту девушку. Я содрогался от непоправимости ее судьбы.

За окнами дрожали, погасая, редкие и жалкие огни деревень. Я смотрел на них и наивно успокаивал себя тем, что Оля Мещерская – это бунинский вымысел, что только моя склонность к романтическому приятию мира заставляет меня страдать из-за внезапной любви к этой погибшей девушке.

Пожалуй, в эту ночь, в холодном вагоне, среди черных и сырых полей России, среди шумящих от ночного ветра, еще не распустившихся березовых рощ я впервые до конца, до последней прожилки понял, что такое искусство и какова его возвышающая и вечная сила.

Я несколько раз разворачивал газету и перечитывал при умирающем огне свечи, а потом при водянистом свете бездомной зари все одни и те же слова о легком дыхании Оли Мещерской, о том, что теперь «это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре».

Второй съезд советских писателей встретил овацией слова о том, что Бунин должен быть возвращен русской литературе.

И он был возвращен. Были возвращены на родину драгоценнейшие бунинские произведения, и в их числе повесть «Жизнь Арсеньева».

Об этой повести писать трудно, почти невозможно, – так же, как и о самом Бунине. Он так богат, щедр, так многообразен, так беспощадно и точно видит любого человека – от господина из Сан-Франциско до плотника Аверкия, видит каждый малейший жест и каждое душевное движение, так удивительно ясно, одновременно строго и нежно, говорит о природе, неотделимой от течения человеческих дней, что писать об этом, как говорится, «из вторых рук» бесполезно и почти бессмысленно.

Бунина надо читать, читать самому и навсегда отказаться от жалких попыток рассказывать обыденными, не бунинскими словами о том, что написано им с классической силой и четкостью.

Нельзя рассказать своими словами «Ненастный день потух» Пушкина, «Над вечным покоем» Левитана или «По синим волнам океана» Лермонтова. Это так же бесполезно, как

поверять сухой алгеброй гармонию Моцарта и всех великих композиторов от XIV века до Рахманинова. Поэтому я не буду делать попыток, заранее обреченных на неудачу, пересказывать Бунина или толковать его вещи применительно к «злобе дня».

В прозе и поэзии Бунина явственно присутствует ощущение жизни как длительного и в основе своей прекрасного пути от рождения человека до его смерти. Особенно сильно это ощущение жизни выражено в «Жизни Арсеньева».

Эта повесть не только славословие России, не только итог жизни Бунина, не только выражение глубочайшей и поэтической его любви к своей стране, выражение печали и восторга перед ней, изредка блещущего со страниц книги скупыми слезами, похожими на редкие ранние звезды на небосклоне. Это еще нечто другое.

Это не только вереница русских людей – крестьян, детей, нищих, разорившихся помещиков, прасолов, студентов, юродивых, художников, прелестных женщин, – многих людей, присутствовавших на всех путях и перепутьях писателя и написанных с резкой, порой ошеломляющей силой.

Это нечто большее, и об этом я скажу позже.

«Жизнь Арсеньева» в каких-то своих частях напоминает картину художника Нестерова «Святая Русь». Эта картина – наилучшее выражение своей страны и народа в понимании художника.

По широкой дороге среди перелесков и взгорий, мимо чистых речек и почернелых бревенчатых церквей, мерно роняющих в тишину осеннего дня колокольные звоны, мимо позабытых погостов и деревенок идет под светлым северным небом большая толпа.

Кого только нет в этой толпе! Идет вся Русь. Идет древний царь в тяжелой парче и литом золоте, идут, жидко звеня цепями, кандальники, робкие сермяжные мужички, подпаски с длинными кнутами, странники в скуфейках, девушки с опущенными, будто насурьмленными ресницами, что бросают нежную тень на их бледные лица, озаренные каким-то целомудренным внутренним светом. Идут юроды, побирушки, истовые старухи, плотники, косцы, грозные старцы с посохами, подмастерья, идут притихшие белоголовые дети, глядя вверх, на проблески солнца и на тянущих на юг журавлей.

В толпе идет Лев Толстой, а невдалеке от него – Достоевский. Они идут в дорожной пыли со своим ищущим правды народом, идут вместе с ним в ясные, но пока еще далекие дали, о которых они не уставали говорить всю жизнь.

Что-то есть общее у этой картины с книгами Бунина. С тем только, однако, отличием, что люди у Бунина совершенно реальные, всем знакомые, а страна гораздо скромнее и беднее, чем у Нестерова.

Срединная наша Россия предстает у Бунина в прелести серых деньков, покое полей, дождях и туманах, а порой в бледной лучезарности, в тлеющих широких закатах.

Здесь уместно будет сказать, что у Бунина было редкое и безошибочное ощущение красок и освещения.

Мир состоит из великого множества соединений красок и света. И тот, кто легко и точно улавливает эти соединения, – счастливейший человек, особенно если он художник или писатель.

В этом смысле Бунин был очень счастливым писателем. С одинаковой зоркостью он видел все: и среднерусское лето, и пасмурную зиму, и «скудные, свинцовые, спокойные дни поздней осени», и море, «которое из-за диких лесистых холмов вдруг глянуло на меня всей своей темной громадной пустыней».

В записках Бунина есть одна короткая фраза. Она относится к началу лета 1906 года. «Начинается пора прелестных облаков», – записал Бунин и этим как бы открыл нам одну из

«тайн» своей писательской жизни. Эти слова – о приближении неизбежного и милого труда, связанного у Бунина с летней порой, «порой облаков», «порой дождей», «порой цветения».

Этими четырьмя словами Бунин отмечает начало своей работы по наблюдению за небом, по изучению облаков, всегда таинственных и притягательных.

Недаром все лучшие наши поэты так точно и образно писали об облаках. Возьмем хотя бы наших современников. У Юрия Олеши над Москвой висит легкое облако, похожее на очертания Южной Америки. У Заболоцкого особенно много облаков. «В нежном небе серебристым комом облако невиданной красы. По бокам туманно-лиловато, посредине грозно и светло, – медленно плывущее куда-то раненого лебедя крыло».

Каждый раз, когда читаешь бунинские строки о лете, вспоминаешь эту его запись. Слова о лете у него всегда томительны, даже если и занимают всего две строки:

«Отцвел и оделся сад, целый день пел соловей в саду, целый день были подняты нижние рамы окон...»

Бунин одинаково остро и тонко видел все, что привелось ему увидеть в жизни. А видел он очень много, с юных лет заболев скитальчеством, непокоем, жаждой непременно увидеть все до той поры невиданное.

Он признавался, что никогда не чувствовал себя так прекрасно, как в те минуты, когда ему предстояла большая дорога.

Есть некая крепкая связь между такими тончайшими явлениями, как свет, запах, звук и цвет.

В чем эта связь? Хотя бы в том, что, глядя на неизвестные цветы, похожие на огромные крокусы на картине Ван Гога, глядя на плотный свет, напоминающий прозрачный сок каких-то не наших плодов, неожиданно вдыхаешь сладковатый дразнящий запах этих плодов и свежее и слабое дыхание сырого морского песка, – этот запах как бы доносит до картинного зала равномерным ветром с чужих островов.

Читая Бунина, часто ловишь себя на ощущениях такого рода. Краска дает запах, свет дает краску, а звук восстанавливает ряд удивительно точных картин. Все это вместе рождает особое душевное состояние – то сосредоточенности и печали, то легкости и жизни с ее теплыми ветрами, шумом деревьев, беспредельным гулом океана, милым смехом детей и женщин.

О своем чувстве красок, о своем отношении к цвету в природе Бунин говорит в «Жизни Арсеньева»:

«Я весь дрожал при одном взгляде на ящик с красками, пачкал бумагу с утра до вечера, часами простаивал, глядя на ту дивную, переходящую в лиловое, синеву неба, которая сквозит в жаркий день против солнца в верхушках деревьев, как бы купающихся в этой синеве, – и навсегда проникся глубочайшим чувством истинно божественного смысла и значения земных и небесных красок. Подводя итоги того, что дала мне жизнь, я вижу, что это один из важнейших итогов. Эту лиловую синеву, сквозящую в ветвях и листве, я и умирая вспомню...»

Слегка приглушенные краски Средней России сразу же приобретают солнечный блеск, зной и густоту, когда Бунин говорит о юге, тропиках, Малой Азии, Египте, Палестине.

«Светлая пустота тропического неба глядела в дверь рубки... Стекловидные валы все медлительнее перекачивались за бортом, вспыхивая ослепительным блеском и озаряя рубку».

Осенью 1912 года Бунин жил на Капри и подолгу в то время беседовал со своим племянником Николаем Алексеевичем Пушешниковым.

Сохранились записи Пушешникова об этих беседах. Они очень простые, эти записи. Они показывают нам Бунина – человека очень сдержанного – в часы редкой его откровенности.

Все эти записи говорят о неистовой любви Бунина к жизни. Глядя из окна вагона на тень от паровозного дыма, таявшую в прозрачном воздухе, Бунин сказал:

«Какая радость – существовать! Только видеть, хотя бы видеть лишь один этот дым и этот свет. Если бы у меня не было рук и ног и я бы только мог сидеть на лавочке и смотреть на заходящее солнце, то я был бы счастлив этим. Одно нужно – только видеть и дышать. Ничто не дает такого наслаждения, как краски. Я привык смотреть. Художники научили меня этому искусству... Поэты не умеют описывать осень, потому что они не описывают красок и неба. Французы – Эредиа, Леконт де Лиль достигли необычайного совершенства в описаниях».

В записках Пушешникова есть место удивительное, раскрывающее „тайну“ бунинского мастерства».

Бунин говорил, что, начиная писать о чем бы то ни было, прежде всего он должен «найти звук». «Как скоро я его нашел, все остальное дается само собой».

Что это значит – «найти звук»? Очевидно, в эти слова Бунин вкладывает гораздо большее значение, чем кажется на первый взгляд.

«Найти звук» – это найти ритм прозы и найти основное ее звучание. Ибо проза обладает такой же внутренней мелодией, как стихи и как музыка.

Это чувство ритма прозы и ее музыкального звучания, очевидно, органично и коренится также в прекрасном знании и тонком чувстве родного языка.

Даже в детстве Бунин остро чувствовал этот ритм. Еще мальчиком он заметил в прологе к пушкинскому «Руслану» кругообразное легкое движение стихов («ворожбу из кругообразных непрерывных движений»):

«И днем – и ночью – кот – ученый – все ходит – по цепи – кругом».

В области русского языка Бунин был мастером непревзойденным.

Из необъятного числа русских слов он безошибочно выбирал для каждого своего рассказа слова наиболее живописные, наиболее сильные, связанные какой-то незримой и почти таинственной связью с повествованием и единственно для этого повествования необходимые.

Каждый рассказ и каждое стихотворение Бунина подобны магниту, который притягивает из самых разных мест все драгоценные частицы, нужные для этого рассказа.

Если бы сейчас существовал сказочник, подобный Христиану Андерсену, то он, может быть, написал бы сказку о том, как слетаются к писателю, обладающему волшебным магнитом, всякие неожиданные вещи, вплоть до солнечного луча в кустарнике, покрытом инеем, лохмотьев туч и сизых траурных риз, а писатель располагает их в своем каком-то особом порядке, обрызгивает живой водой, и вот – в мире уже живет новое произведение – поэма, стихи или повесть, – и ничто не сможет убить его. Оно бессмертно, пока жив на земле человек.

Язык Бунина прост, почти скуп, чист и живописен. Но вместе с тем он необыкновенно богат в образном и звуковом отношениях – от кимвального пения до звона родниковой воды, от размеренной чеканности до интонаций удивительно нежных, от легкого напева до гремящих библейских проклятий, а от них – до меткого, разящего языка орловских крестьян...

Чем больше я читаю Бунина, тем яснее становится, что Бунин почти неисчерпаем.

Во всяком случае, нужно много времени, чтобы узнать все им написанное и узнать бунинскую бурную, несмотря на элегичность автора, беспокойную, стремительную в своем движении жизнь.

Часть своей жизни Бунин рассказал сам (в «Жизни Арсеньева» и во многих рассказах, которые почти все в той или иной мере связаны с его биографией), часть рассказала его жена Вера Николаевна Муромцева-Бунина, выпустившая в 1958 году в Париже свою книгу «Жизнь Бунина» – очень ценный свод воспоминаний и материалов о Буине.

Жизнь Бунина вся до последних лет была отдана скитаниям и творчеству. Недаром Бунин написал рассказ о матросе Бернаре с мопассановской яхты «Милый друг».

Бернар, великолепный моряк, умирая, сказал: «Кажется, я был неплохим моряком». Бунин писал о себе, что он был бы счастлив, если бы в свой смертный час мог бы повторить по праву слова Бернара и сказать: «Кажется, я был неплохим писателем».

Бунин был смел, прям, честен в своих убеждениях. Он один из первых в своей «Деревне» развенчал сладенький миф о русском крестьянине-богоносце, созданный кабинетными народниками.

У Бунина кроме блестящих, совершенно классических рассказов есть необычайные по чистоте рисунка, по великолепной наблюдательности и по ощущению далеких стран путевые очерки об Иудее, Малой Азии, Турции, Греции и Египте.

Бунин – первоклассный поэт чистой, если можно так выразиться, «Кастальской» школы. Его стихи до сих пор не оценены. Среди них есть подлинные шедевры по выразительности и передаче трудноуловимых вещей.

Всю жизнь Бунин ждал счастья, писал о человеческом счастье, искал путей к нему. Он нашел его в своей поэзии, прозе, в любви к жизни и своей Родине и сказал великие слова о том, что счастье дано только знающим.

Бунин прожил сложную, иногда противоречивую жизнь. Он много видел, знал, много любил и ненавидел, много трудился, иногда жестоко ошибался, но всю жизнь величайшей, нежнейшей, неизменной его любовью была родная страна, Россия.

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет – Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все – вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слёз не успею ответить,
К милосердным коленям припав.

Константин Паустовский

Январь 1961 г.

Таруса

Чистый понедельник

Повести и рассказы



На край света²



² На край света (с. 21). – Журн. «Новое слово», СПб., 1895, № 1, октябрь, с подзаголовком: «Из записной книжки» и посвящением Д. И. Звереву. Печатается по тексту книги «Начальная любовь». В. Н. Муромцева-Бунина рассказывает: «Статистик Зверев пригласил его поехать с ним на переселенческий пункт, откуда чуть ли не все село отправлялось в Уссурийский край. Он под свежим впечатлением, что с ним бывало редко, написал рассказ... озаглавил его «На край света» («Жизнь Бунина», с. 86). «Рассказ этот критики так единодушно расхвалили, – вспоминал Бунин, – что прочие журналы стали приглашать меня сотрудничать, а петербургское „Общество попечения о переселенцах“ даже обратилось ко мне с просьбой приехать в Петербург и выступить на литературном вечере... Я, конечно, читал „На край света“» (Собр. соч.: в 11 т. Т. 1. Берлин: Петрополис, 1936. С. 41). Критика была единодушна в своей положительной оценке рассказа. А. Богданович писал: «Каких вавилонов наплел бы на ту же тему иной заядлый народник, мыслящий себя великим знатоком и ценителем народной „подоплеки“ души и прочих аксессуаров народного быта... г. Бунин поступает, как истинный художник... Он умеет открыть и дать нам почувствовать новые стороны в старых темах, внести в них дыхание жизни» («Мир Божий», СПб., 1897, № 2, февраль). Рецензент «Русского богатства» (СПб., 1897, № 1, январь) отмечал художественные достоинства рассказа: «...это яркий и задушевный рассказ о том, как снялась с насиженного места и двинулась в переселение, в далекие, неизвестные края хохлацкая деревня. Сжатый и картинный рассказ, – почти стихотворение в прозе по мягкому лиризму и строгой симметрии формы, – сразу настраивает читателя и располагает к малоизвестному автору». А. Скабичевский закончил восторженную рецензию словами: «Давно уже не появлялось у нас ничего столь поэтического, художественного, столь хватающего вас за самое сердце... Это уж не жанр, не бытописание, не этнография... а сама поэзия!..» (газ. «Новости», СПб., 1895, № 295, 26 октября).

I

То, что так долго всех волновало и тревожило, наконец разрешилось: Великий Перевоз сразу опустел наполовину.

Много белых и голубых хат осиротело в этот летний вечер. Много народу навек покинуло родимое село – его зеленые переулки между садами, пыльный базарный выгон, где так весело в солнечное воскресное утро, когда кругом стоит говор, гудит бранью и спорами корчма, выкрикивают торговки, поют нищие, пиликает скрипка, меланхолично жужжит лира, а важные волю, прикрывая от солнца глаза, сонно жуют сено под эти нестройные звуки; покинуло разноцветные огороды и густые верболозы с матово-бледной длинной листвою над криницею, при спуске к затону реки, где в тихие вечера в воде что-то стонет глухо и однотонно, словно дует в пустую бочку; навсегда покинуло родину для далеких уссурийских земель и ушло «на край света»...

Когда на село, расположенное в долине, легла широкая прохладная тень от горы, закрывающей запад, а в долине, к горизонту, все зарумянилось отблеском заката, зарделись рощи, вспыхнули алым глянцем изгибы реки, и за рекой как золото засверкали равнины песков, народ, пестреющий яркими, праздничными нарядами, собрался на зеленую леваду, к белой старинной церковке, где молились еще казаки и чумаки перед своими далекими походами.

Там, под открытым небом, между нагруженных телег, начался молебен, и в толпе воцарилась мертвая тишина. Голос священника звучал внятно и отдельно, и каждое слово молитвы проникало до глубины каждого сердца...

Много слёз упало на этом месте и в былые дни. Стояли здесь когда-то снаряженные в далекий путь «лыцари». Они тоже прощались, как перед кончиной, и с детьми и с женами, и не в одном сердце заранее звучала тогда величаво-грустная «дума» о том, «як на Чорному морі, на білому камені сидить ясен сокіл-білозірець, жалібноенько квилить-проквиліє...». Многих из них ожидали «кайдани турецької, каторга бусурманська», и «сиві тумани» в дороге, и одинокая смерть под степным курганом, и стаи орлов сизокрылых, что будут «на чорнії кудрі наступати, з лоба очі казацької видирати...»³. Но тогда надо всем витала гордая казацкая воля. А теперь стоит серая толпа, которую навсегда выгоняет на край света не прихоть казацкая, а нищета, эти желтые пески, что сверкают за рекою. И как на великой панихиде, заказанной по самом себе, тихо стоял народ на молебне с поникшими, обнаженными головами. Только ласточки звонко щебетали над ними, проносясь и утопая в вечернем воздухе, в голубом глубоком небе...

А потом поднялись вопли. И среди гортанного говора, плача и криков двинулся обоз по дороге в гору. В последний раз показался Великий Перевоз в родной долине – и скрылся... И сам обоз скрылся наконец за хлебами, в полях, в блеске низкого вечернего солнца...

II

Провожавшие возвращались домой.

Народ толпами валил под гору, к хатам. Были и такие, что только вздохнули и пошли домой торопливо и беспечно. Но таких было мало.

Молча, покорно согнувшись, шли старики и старухи; хмурились суровые хозяйственные мужики; плакали дети, которых тащили за маленькие ручки отцы и матери; громко кричали молодые бабы и дивчата.

³ «...як на Чорному морі... очі казацької видирати...» – Отдельные строки, взятые из популярных украинских дум (сб. «Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова». Т. 1. Киев, 1874).

Вот две спускаются под гору, по каменистой дороге. Одна, крепкая, невысокая, хмурит брови и рассеянно смотрит своими черными серьезными глазами куда-то вдаль, по долине. Другая, высокая, худенькая, плачет... Обе наряжены по-праздничному, но как горько плачет одна, прижимая к глазам рукава сорочки! Спотыкаются сафьяновые сапоги, на которые так красиво падает из-под плахты белоснежный подол... Звонко, с неудержимой радостью пела она до глубокой ночи, бегая на реку с ведрами, когда отец Юхыма твердо сказал, что не пойдет на новые места! А потом...

– Прокинулись сю ніч, – говорил Юхым растерянно, – прокинулись вони, Зинька, та й кажуть: «Ідемо на переселення!» – «Як же так, тату, вы ж казали...» – «Ні, кажуть, я сон бачив...»

А вот на горе, около мельниц, стоит в толпе стариков старый Василь Шкуть. Он высок, широкоплеч и сутул. От всей фигуры его еще веет степной мощью, но какое у него скорбное лицо! Ему вот-вот собираться в могилу, а он уже никогда больше не услышит родного слова и помрет в чужой хате, и некому будет ему глаза закрыть. Перед смертью оторвали его от семьи, от детей и внучат. Он бы дошел, он еще крепок, но где же взять эти семьдесят рублей, которых не хватило для разрешения идти на новые земли?

Старики, рассеянно переговариваясь, каждый со своей думой, стоят на горе. Они все глядят в ту сторону, куда отбыли земляки.

Уже давно не стало видно и последней телеги. Опустела степь. Весело и кротко распевают, сыплют трели жаворонки. Мирно и спокойно догорает ясный день. Привольно зеленеют кругом хлеба и травы, далеко-далеко темнеют курганы; а за курганами необъятным полукругом простерся горизонт, между землей и небом охватывает степь полоса голубоватой воздушной бездны, как полоса далекого моря.

«Що воно таке, сей Уссурийський край?» – думают старики, прикрывая глаза от солнца, и напрягают воображение представить себе эту сказочную страну на конце света и то громадное пространство, что залегает между ней и Великим Перевозом, мысленно увидеть, как тянется длинный обоз, нагруженный добром, бабами и детьми, медленно скрипят колеса, бегут собаки и шагают за обозом по мягкой пыльной дороге, пригретой догорающим солнцем, «дядьки» в широких шароварах.

Небось и они все глядят в эту загадочную голубоватую даль:

«Що воно таке, сей Уссурийський край?»

А старый Шкуть, опершись на палку, надвинув на лоб шапку, представляет себе воз сына и с покорной улыбкой бормочет:

– Я йому, бачите, і пилу і фуганок дав... і як хату строїть, він тепер знає... Не пропаде!

– Багато людей загинуло! – говорят, не слушая его, другие. – Багато, багато!

III

Темнеет – и странная тишина царит в селе.

Теплые южные сумерки неясной дымкой смягчают вечернюю синеву глубокой долины, затушевывают эту огромную картину широкой низменности с темными кущами прибрежных рощ, с тускло блестящими изгибами речки, с одинокими тополями, что чернеют над долиной. Старинный Великий Перевоз сереет своими скученными хатами в котловине у подошвы каменистой горы. Смутно, как полосы спелых ржей, желтеют за рекой пески. За песками, уже совсем неясно, темнеют леса. И даль становится дымчато-лиловой и сливается с сумеречными небесами.

Все как всегда бывало в этой мирной долине в летние сумерки... Но нет, не все! Много стоит хат темных, забитых и немых...

Уже почти все разбрелись по домам. Пустеет дорога. Медленно бредет по ней несколько человек, провожавших переселенцев до ближнего перекрестка.

Они чувствуют ту внезапную пустоту в сердце и непонятную тишину вокруг себя, которая всегда охватывает человека после тревоги проводов, при возвращении в опустевший дом. Спускаясь под гору, они глядят на село другими глазами, чем прежде, – точно после долгой отлучки...

Вот расстилается пахучий дымок над чьей-то хатой... покойно и буднично...

Вот красной звездочкой, среди темных садов, среди скученных дворов, загорелся огонек...

Глядя на огоньки и в долину, медленно расходятся старики, и на горе, близ дороги, остаются одни темные ветряки с неподвижно распростертыми крыльями.

Молча идет под гору, улыбаясь своей странной улыбкой старческого горя, Василь Шкуть. Медленно отложил он калитку, медленно прошел через дворик и скрылся в хате.

Хата родная. Но Шкуть в ней больше не хозяин. Ее купили чужие люди и позволили ему только «дожить» в ней. Это надо сделать поскорее...

В теплом и душном мраке хаты выжидательно трюкает сверчок из-за печки... словно прислушивается... Сонные мухи гудят по потолку... Старик, согнувшись, сидит в темноте и безмолвии.

Что-то он думает? Может быть, про то, как где-то там, по смутно белеющей дороге, тихо поскрипывает обоз? – Э, да что про то и думать!

Звонкий девический голос замирает за рекою:

Ой, зійди, зійди,
Ясен місяцю!

Глубокое молчание. Южное ночное небо в крупных жемчужных звездах. Темный силуэт неподвижного тополя рисуется на фоне ночного неба. Под ним чернеет крыша, белеют стены хаты. Звезды сияют сквозь листья и ветви...

IV

А они еще недалеко.

Они ночуют в степи, под родным небом, но им уже кажется, что они за тысячу верст ото всего привычного, родного.

Как цыганский табор, расположились они у дороги, распрягли лошадей, сварили ужин; то вели беспокойные разговоры, то угрюмо молчали и сторонились друг друга...

Наконец все стихло.

В звездном свете темнели беспорядочно скученные возы, виднелись фигуры лежащих людей и наклоненных к траве лошадей. Сторожевые, с кнутами в руках, сонно ежились вокруг телег, зевали и с тоской глядели в темную степь...

Но с какой радостью встрепенулись они, когда услышали скрип проезжей телеги! Земляк! Они окружили его, улыбались и жали ему руку, словно не видались много-много лет.

Разбуженные говором, подымались с земли и другие и, застенчиво скрывая свою радость, тоже толпились у телеги проезжего, закуривали трубки и были готовы говорить хоть до самого света...

Потом опять все затихло.

Взволнованные встречей, засыпали они, закрывая головы свитками, и все думали об одном, – о далекой неизвестной стране на краю света, о дорогах и больших реках в пути, о родном покинутом селе...

Холоднело. Все спало крепким сном – и люди, и дороги, и межи, и росистые хлеба.

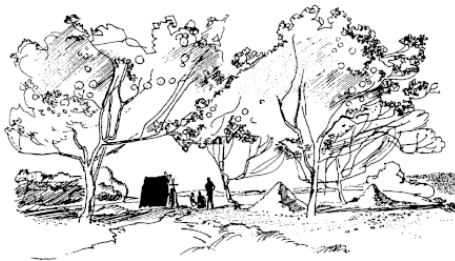
С отдаленного хутора чуть слышно донесся крик петуха. Серп месяца, мутно-красный и поникший на сторону, показался на краю неба. Он почти не светил. Только небо около него приняло зеленоватый оттенок, почернела степь от горизонта, да на горизонте выступило что-то темное. Это были курганы. И только звезды и курганы слушали мертвую тишину на степи и дыхание людей, позабывших во сне свое горе и далекие дороги.

Но что им, этим вековым молчаливым курганам, до горя или радости каких-то существ, которые проживут мгновение и уступят место другим таким же – снова волноваться и радоваться и так же бесследно исчезнуть с лица земли? Много ночевавших в степи обозов и станов, много людей, много горя и радости видели эти курганы.

Одни звезды, может быть, знают, как свято человеческое горе!

1894

Антоновские яблоки⁴



I

...Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева, – с дождиками в самую пору, в середине месяца, около праздника св. Лаврентия. А «осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик». Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак: «Много тенетника на бабье лето – осень ядреная»... Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город, – непременно в ночь, когда так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их с сочным треском одно за одним, но уж таково заведение – никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет:

– Вали, ешь досыта, – делать нечего! На сливанье все мед пьют.

И прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалаш, около которого мещане обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками, тут – особенно. В шалаше устроены постели, стоит одноствольное ружье, позеленевший самовар, в уголке – посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящики, всякие истрепанные пожитки, вырыта земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеш с салом, вечером греется самовар, и по саду, между деревьями, расстилается длинной полосой голубоватый дым. В праздничные же дни около шалаша – целая ярмарка, и за деревьями поминутно мелькают красные уборы. Толпятся бойкие девки-одноворки в сарафанах, сильно пахнущих краской, приходят «барские» в своих красивых и грубых, дикарских костюмах, молодая старостиха, беременная, с широким сонным лицом и важная, как холмогорская корова. На голове ее «рога», – косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной; ноги, в полусапожках с подковками, стоят тупо и крепко; безрукавка – плисовая,

⁴ Антоновские яблоки (с. 29). – В рассказе отобразились впечатления тех лет, когда Бунин жил в деревне Огневке Орловской губернии. Он писал В. В. Пашенко 14 августа 1891 г.: «Нынче почти весь день пропадал на охоте... Я еще у Евгения (брата Е. А. Бунина. – А. Б.)... Вчера мы проболтали с ним почти до двух часов ночи, но проснулся я все-таки рано. Вышел на крыльцо и увидел, что начинается совсем осенний день. Заря – сероватая, холодная, с легким туманом над первыми зелеными... Крыльцо и дорожки по двору отсырели и потемнели... В саду пахнет „антоновскими яблоками“... Просто не надышишься!...»

занавеска длинная, а панёва – черно-лиловая, с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым «прозументом»...

– Хозяйственная бабочка! – говорит о ней мещанин, покачивая головою. – Переводятся теперь такие...

А мальчишки в белых замашных рубашках и коротеньких порточках, с белыми раскрытыми головами, всё подходят. Идут по двое, по трое, мелко перебирая босыми ножками, и косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблоне. Покупает, конечно, один, ибо и покупки-то всего на копейку или на яйцо, но покупателей много, торговля идет бойко, и чахоточный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах – весел. Вместе с братом, картавым, шустрым полуидиотом, который живет у него «из милости», он торгует с шуточками, прибаутками и даже иногда «тронет» на тульской гармонике. И до вечера в саду толпится народ, слышится около шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски...

К ночи в погоду становится очень холодно и росисто. Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякины, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студеной заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах: в саду – костер, и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. В темноте, в глубине сада – сказочная картина: точно в уголке ада, пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком, и чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева силуэты двигаются вокруг костра, меж тем как гигантские тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин, то четко нарисуются две ноги – два черных столба. И вдруг все это скользнет с яблони – и тень упадет по всей аллее, от шалаша до самой калитки...

Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое семизвездие Стожар, еще раз пробежишь в сад. Шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Там на полянке немного светлее, а над головой белеет Млечный Путь.

– Это вы, барчук? – тихо окликает кто-то из темноты.

– Я. А вы не спите еще, Николай?

– Нам нельзя-с спать. А должно, уж поздно? Вон, кажись, пассажирский поезд идет...

Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле. Дрожь переходит в шум, растет, и вот, как будто уже за самым садом, ускоренно выбивают шумный такт колеса: громохвая и стуча, несется поезд... ближе, ближе, все громче и сердитее... И вдруг начинает стихать, глоснуть, точно уходя в землю...

– А где у вас ружье, Николай?

– А вот, возле ящика-с.

Вскинешь кверху тяжелую, как лом, одностволку и с маху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды, а бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая в чистом и чутком воздухе.

– Ух, здóрово! – скажет мещанин. – Потращай-те, потращайте, барчук, а то просто беда! Опять всю «дулю» на валу отрясли...

А черное небо чертят огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому... Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете!

II

«Ядреная антоновка – к веселому году». Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась, – значит, и хлеб уродился...

Вспоминается мне урожайный год.

На ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному дымятся избы, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь – велишь поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень, и, умывшись и позавтракав в людской с работниками горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по Выселкам на охоту. Осень – пора престольных праздников, и народ в это время прибран, доволен, вид деревни совсем не тот, что в другую пору. Если же год урожайный и на гумнах возвышается целый золотой город, а на реке звонко и резко гогочут по утрам гуси, так в деревне и совсем не плохо. К тому же наши Выселки спокон веку, еще со времен дедушки, славились «богатством». Старики и старухи жили в Выселках очень подолгу, – первый признак богатой деревни, – и были все высокие, большие и белые, как лунь. Только и слышишь, бывало: «Да, вот Агафья восемьдесят три годочка отмахала!» – или разговоры в таком роде:

- И когда это ты умрешь, Панкрат? Небось тебе лет сто будет?
- Как изволите говорить, батюшка?
- Сколько тебе годов, спрашиваю!
- А не знаю-с, батюшка.
- Да Платона Аполлоныча-то помнишь?
- Как же-с, батюшка, явственно помню.
- Ну, вот видишь. Тебе, значит, никак не меньше ста.

Старик, который стоит перед барином вытянувшись, кротко и виновато улыбается. Что ж, мол, делать, – виноват, зажился. И он, вероятно, еще более зажился бы, если бы не объелся в Петровки луку.

Помню я и старуху его. Все, бывало, сидит на скамеечке, на крыльце, согнувшись, трясая головой, задыхаясь и держась за скамейку руками, – все о чем-то думает. «О добре своем небось», – говорили бабы, потому что «добра» у нее в сундуках было, правда, много. А она будто и не слышит; подслеповато смотрит куда-то вдаль из-под грустно приподнятых бровей, трясет головой и точно силится вспомнить что-то. Большая была старуха, вся какая-то темная. Панёва – чуть не прошлого столетия, чуньки – покойницкие, шея – желтая и высохшая, рубаха с канифасовыми косяками всегда белая-белая, – «совсем хоть в гроб клади». А около крыльца большой камень лежал: сама купила себе на могилку, так же как и саван, – отличный саван, с ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям.

Под старикам были и дворы в Выселках – кирпичные, строенные еще дедами. А у богатых мужиков – у Савелия, у Игната, у Дрона – избы были в две-три связи, потому что делиться в Выселках еще не было моды. В таких семьях водили пчел, гордились жеребцом-битюгом сиво-железного цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые и тучные конопляники, стояли овины и риги, крытые вприческу; в пуньках и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полушубки, наборная сбруя, меры, окованные медными обручами. На воротах и на санках были выжжены кресты. И помню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник встать вместе с солнцем, под густой и музыкальный благовест из села, умывшись около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками. Если же, думалось, к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и с ситниками, с сотовым медом и брагой, – так больше и желать невозможно!

Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти, – очень недавно, – имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию. Такова, например, была усадьба тетки Анны Герасимовны, жившей от Выселок верстах в двенадцати. Пока, бывало, доедешь до этой усадьбы, уже совсем ободняется. С собаками на сворах ехать приходится шагом, да и спешить не хочется, – так весело в открытом поле в солнечный и прохладный день! Местность ровная, видно далеко. Небо легкое и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими косяками свежие, пышно-зеленые озими. Взовьется откуда-нибудь ястребок в прозрачном воздухе и замрет на одном месте, трепеща острыми крылышками. А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят кобчики – совсем черные значки на нотной бумаге.

Крепостного права я не знал и не видел, но, помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его. Въедешь во двор и сразу ощутишь, что тут оно еще вполне живо. Усадьба – небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и лозинами. Надворных построек – невысоких, но домовитых – множество, и все они точно слиты из темных дубовых бревен под соломенными крышами. Выделяется величиной или, лучше сказать, длиной только почерневшая людская, из которой выглядывают последние могикане дворового сословия – какие-то ветхие старики и старухи, дряхлый повар в отставке, похожий на Дон Кихота. Все они, когда въезжаешь во двор, подтягиваются и низко-низко кланяются. Седой кучер, направляющийся от каретного сарая взять лошадь, еще у сарая снимает шапку и по всему двору идет с обнаженной головой. Он у тетки ездил форейтором, а теперь возит ее к обедне, – зимой в возке, а летом в крепкой, окованной железом тележке, вроде тех, на которых ездят попы. Сад у тетки славился своею запущенностью, соловьями, горlinkами и яблоками, а дом – крышей. Стоял он во главе двора, у самого сада, – ветви лип обнимали его, – был невелик и приземист, но казалось, что ему и веку не будет – так основательно глядел он из-под своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от времени. Мне его передний фасад представлялся всегда живым: точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз – окнами с перламутровыми от дождя и солнца стеклами. А по бокам этих глаз были крыльца, – два старых больших крыльца с колоннами. На фронтоне их всегда сидели сытые голуби, между тем как тысячи воробьев дождем пересыпались с крыши на крышу... И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним небом!

Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие: старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня лежит на окнах... Во всех комнатах – в лакейской, в зале, в гостиной – прохладно и сумрачно: это оттого, что дом окружен садом, а верхние стекла окон цветные: синие и лиловые. Всюду тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы с инкрустациями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места.

И вот слышится покашливание: выходит тетка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом, прочная. На плечах у нее накинута большая персидская шаль. Выйдет она важно, но приветливо, и сейчас же под бесконечные разговоры про старину, про наследства начинают появляться угощения: сперва «дули», яблоки, – антоновские, «бель-барыня», боровинка, «плодовитка», – а потом удивительный обед: вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас, – крепкий и сладкий-пресладкий... Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрой осенней прохладой...

III

За последние годы одно поддерживало угасающий дух помещиков – охота.

Прежде такие усадьбы, как усадьба Анны Герасимовны, были не редкость. Были и разрушающиеся, но все еще жившие на широкую ногу усадьбы с огромным поместьем, с садом в двадцать десятин. Правда, сохранились некоторые из таких усадеб еще и до сего времени, но в них уже нет жизни... Нет троек, нет верховых «киргизов», нет гончих и борзых собак, нет дворни и нет самого обладателя всего этого – помещика-охотника, вроде моего покойного шурина Арсения Семеныча.

С конца сентября наши сады и гумна пустели, погода, по обыкновению, круто менялась. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца; воздух делался чист и ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал между листвою, между ветвями, которые живою сеткою двигались и волновались от ветра. Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор-облаков. Стоишь у окна и думаешь: «Авось, Бог даст, распогодится». Но ветер не унимался. Он волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людской струю дыма и снова нагонял злоеущие космы пепельных облаков. Они бежали низко и быстро – и скоро, точно дым, затуманивали солнце. Погасал его блеск, закрывалось окошечко в голубое небо, а в саду становилось пустынно и скучно, и снова начинал сеять дождь... сперва тихо, осторожно, потом все гуще и, наконец, превращался в ливень с бурей и темнотою. Наступала долгая, тревожная ночь...

Из такой трёпки сад выходил почти совсем обнаженным, засыпанным мокрыми листьями и каким-то притихшим, смирившимся. Но зато как красив он был, когда снова наступала ясная погода, прозрачные и холодные дни начала октября, прощальный праздник осени! Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых зазимков. Черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске. А поля уже резко чернеют пашнями и ярко зеленеют закустившимися озимями... Пора на охоту!

И вот я вижу себя в усадьбе Арсения Семеныча, в большом доме, в зале, полной солнца и дыма от трубок и папирос. Народу много – все люди загорелые, с обветренными лицами, в поддевках и длинных сапогах. Только что очень сытно пообедали, раскраснелись и возбуждены шумными разговорами о предстоящей охоте, но не забывают допивать водку и после обеда. А на дворе трубит рог и завывают на разные голоса собаки. Черный борзой, любимец Арсения Семеныча, влезает на стол и начинает пожирать с блюда остатки зайца под соусом. Но вдруг он испускает страшный визг и, опрокидывая тарелки и рюмки, срывается со стола:

Арсений Семеныч, вышедший из кабинета с арапником и револьвером, внезапно оглушает залу выстрелом. Зала еще более наполняется дымом, а Арсений Семеныч стоит и смеется.

– Жалко, что промахнулся! – говорит он, играя глазами.

Он высок ростом, худощав, но широкоплеч и строен, а лицом – красавец цыган. Глаза у него блестят дико, он очень ловок, в шелковой малиновой рубаше, бархатных шароварах и длинных сапогах. Напугав и собаку и гостей выстрелом, он шутливо-важно декламирует баритоном:

Пора, пора седлать проворного донца
И звонкий рог за плечи перекинуть! —

и громко говорит:

– Ну, однако, нечего терять золотое время!

Я сейчас еще чувствую, как жадно и емко дышала молодая грудь холодом ясного и сырого дня под вечер, когда, бывало, едешь с шумной ватагой Арсения Семеныча, возбужденный музыкальным гамом собак, брошенных в чернолесье, в какой-нибудь Красный Бугор или Гремячий остров, уже одним своим названием волнующий охотника. Едешь на злом, сильном и

приземистом «киргизе», крепко сдерживая его поводьями, и чувствуешь себя слитым с ним почти воедино. Он фыркает, просится на рысь, шумно шуршит копытами по глубоким и легким коврам черной осыпавшейся листвы, и каждый звук гулко раздается в пустом, сыром и свежем лесу. Тявкнула где-то вдалеке собака, ей страстно и жалобно ответила другая, третья – и вдруг весь лес загремел, точно он весь стеклянный, от бурного лая и крика. Крепко грянул среди этого гама выстрел – и все «заварилось» и покатилося куда-то вдаль.

– Береги-и! – завопил кто-то отчаянным голосом на весь лес.

«А, береги!» – мелькнет в голове опьяняющая мысль. Гикнешь на лошадь и, как сорвавшийся с цепи, помчишься по лесу, уже ничего не разбирая по пути. Только деревья мелькают перед глазами да лепит в лицо грязью из-под копыт лошади. Выскочишь из лесу, увидишь на зеленых пеструю, растянувшуюся по земле стаю собак и еще сильнее наддашь «киргиза» наперерез зверю, – по зеленым, взметам и жнивьям, пока наконец не перевалишься в другой остров и не скроется из глаз стая вместе со своим бешеным лаем и стоном. Тогда, весь мокрый и дрожащий от напряжения, осадит вспененную, хрипящую лошадь и жадно глотаешь ледяную сырость лесной долины. Вдали замирают крики охотников и лай собак, а вокруг тебя – мертвая тишина. Полуоткрытый строевой лес стоит неподвижно, и кажется, что ты попал в какие-то заповедные чертоги. Крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корою. И сырость из оврагов становится все ощутительнее, в лесу холоднеет и темнеет... Пора на ночевку. Но собрать собак после охоты трудно. Долго и безнадежно-тоскливо звенят рога в лесу, долго слышатся крик, брань и визг собак... Наконец, уже совсем в темноте, вваливается ватага охотников в усадьбу какого-нибудь почти незнакомого холостяка-помещика и наполняет шумом весь двор усадьбы, которая озаряется фонарями, свечами и лампами, вынесенными навстречу гостям из дому...

Случалось, что у такого гостеприимного соседа охота жила по несколько дней. На ранней утренней заре, по ледяному ветру и первому мокрому зазимку, уезжали в леса и в поле, а к сумеркам опять возвращались, все в грязи, с раскрасневшимися лицами, пропахнув лошадиным потом, шерстью затравленного зверя, – и начиналась попойка. В светлом и людном доме очень тепло после целого дня на холоде в поле. Все ходят из комнаты в комнату в расстегнутых поддевах, беспорядочно пьют и едят, шумно передавая друг другу свои впечатления над убитым матерым волком, который, оскалив зубы, закатив глаза, лежит с откинутым на сторону пушистым хвостом среди залы и окрашивает своей бледной и уже холодной кровью пол. После водки и еды чувствуешь такую сладкую усталость, такую негу молодого сна, что как через воду слышишь говор. Обветренное лицо горит, а закроешь глаза – вся земля так и поплывет под ногами. А когда ляжешь в постель, в мягкую перину, где-нибудь в угловой старинной комнате с образничкой и лампадой, замелькают перед глазами призраки огнисто-пестрых собак, во всем теле занает ощущение скачки, и не заметишь, как потонешь вместе со всеми этими образами и ощущениями в сладком и здоровом сне, забыв даже, что эта комната была когда-то моленной старика, имя которого окружено мрачными крепостными легендами, и что он умер в этой моленной, вероятно, на этой же кровати.

Когда случалось проспять охоту, отдых был особенно приятен. Проснешься и долго лежишь в постели. Во всем доме – тишина. Слышно, как осторожно ходит по комнатам садовник, растапливая печи, и как дрова трещат и стреляют. Впереди – целый день покоя в безмолвной уже по-зимнему усадьбе. Не спеша оденешься, побродишь по саду, найдешь в мокрой листве случайно забытое холодное и мокрое яблоко, и почему-то оно покажется необыкновенно вкусным, совсем не таким, как другие. Потом примешься за книги, – дедовские книги в толстых кожаных переплетах, с золотыми звездочками на сафьянных корешках. Славно пахнут эти, похожие на церковные требники книги своей пожелтевшей, толстой шершавой бумагой! Какой-то приятной кисловатой плесенью, старинными духами... Хороши и заметки на их полях, крупно и с круглыми мягкими росчерками сделанные гусиным пером. Развернешь

книгу и читаешь: «Мысль, достойная древних и новых философов, цвет разума и чувства сердечного»... И невольно увлечешься и самой книгой. Это – «Дворянин-философ»⁵, аллегория, изданная лет сто тому назад иждивением какого-то «кавалера многих орденов» и напечатанная в типографии приказа общественного призрения, – рассказ о том, как «дворянин-философ, имея время и способность рассуждать, к чему разум человека возноситься может, получил некогда желание сочинить план света на просторном месте своего селения»... Потом наткнешься на «сатирические и философские сочинения господина Вольтера» и долго упи-ваешься милым и манерным слогом перевода: «Государи мои! Эразм сочинил в шестомна-дцать столетии похвалу дурачеству (манерная пауза, – точка с запятой); вы же приказываете мне превознести пред вами разум...» Потом от екатерининской старины перейдешь к роман-тическим временам, к альманахам, к сентиментально-напыщенным и длинным романам... Кукушка выскакивает из часов и насмешливо-грустно кукует над тобою в пустом доме. И поне-многу в сердце начинает закрадываться сладкая и странная тоска...

Вот «Тайны Алексиса»⁶, вот «Виктор, или Дитя в лесу»: «Бьет полночь! Священная тишина заступает место дневного шума и веселых песен поселян. Сон простирает мрачные крылья свои над поверхностью нашего полушария; он стрясает с них мрак и мечты... Мечты... Как часто продолжают оне токмо страдания злощастнаго!...» И замелькают перед глазами люби-мые старинные слова: скалы и дубравы, бледная луна и одиночество, привидения и призраки, «ероты», розы и лилии, «проказы и резвости молодых шалунов», лилейная рука, Людмилы и Алины... А вот журналы с именами Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина. И с грустью вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее томное чтение стихов из «Евгения Оне-гина». И старинная мечтательная жизнь встанет перед тобою... Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! Их портреты глядят на меня со стены, аристократи-чески-красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза...

IV

Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб. Эти дни были так недавно, а меж тем мне кажется, что с тех пор прошло чуть не целое столетие. Перемерли старики в Выселках, умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семеныч... Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищенства. Но хороша и эта нищенская мелкопоместная жизнь!

Вот я вижу себя снова в деревне, глубокой осенью. Дни стоят синеватые, пасмурные. Утром я сажусь в седло и с одной собакой, с ружьем и с рогом уезжаю в поле. Ветер звонит и гудит в дуло ружья, ветер крепко дует навстречу, иногда с сухим снегом. Целый день я скита-юсь по пустым равнинам... Голодный и прозябший, возвращаюсь я к сумеркам в усадьбу, и на душе становится так тепло и отрадно, когда замелькают огоньки Выселок и потянет из усадьбы запахом дыма, жилья. Помню, у нас в доме любили в эту пору «сумерничать», не зажигать огня и вести в полутемноте беседы. Войдя в дом, я нахожу зимние рамы уже вставленными, и это еще более настраивает меня на мирный зимний лад. В лакейской работник топит печку, и я, как в детстве, сажусь на корточки около вороха соломы, резко пахнущей уже зимней свеже-стью, и гляжу то в пылающую печку, то на окна, за которыми, синевя, грустно умирают сумерки. Потом иду в людскую. Там светло и людно: девки рубят капусту, мелькают сечки, я слушаю

⁵ «Дворянин-философ. Аллегория» (1769) – натурфилософская книга русского писателя-вольнодумца, коллекционера Ф. И. Дмитриева-Мамонова (1727–1805), который дальнейшие свои произведения стал подписывать псевдонимом «Дворя-нин-философ».

⁶ «Тайны, Алексиса» и «Виктор, или Дитя в лесу» – романы французского писателя Дюкре-Дюмениля (1761–1819).

их дробный, дружный стук и дружные, печально-веселые деревенские песни... Иногда заедет какой-нибудь мелкопоместный сосед и надолго увезет меня к себе... Хороша и мелкопоместная жизнь!

Мелкопоместный встает рано. Крепко потянувшись, поднимается он с постели и крутит толстую папиросу из дешевого, черного табаку или просто из махорки. Бледный свет раннего ноябрьского утра озаряет простой, с голыми стенами кабинет, желтые и заскорузлые шкурки лисиц над кроватью и коренастую фигуру в шароварах и распоясанной косоворотке, а в зеркале отражается заспанное лицо татарского склада. В полутемном, теплом доме мертвая тишина. За дверью в коридоре похрапывает старая кухарка, жившая в господском доме еще девчонкою. Это, однако, не мешает барину хрипло крикнуть на весь дом:

– Лукерья! Самовар!

Потом, надев сапоги, накинув на плечи поддевку и не застегивая ворота рубахи, он выходит на крыльцо. В запертых сенях пахнет псиной; лениво потягиваясь, с визгом зевая и улыбаясь, окружают его гончие.

– Отыж! – медленно, снисходительным басом говорит он и через сад идет на гумно.

Грудь его широко дышит резким воздухом зари и запахом озябшего за ночь, обнаженного сада. Свернувшиеся и почерневшие от мороза листья шуршат под сапогами в березовой аллее, вырубленной уже наполовину. Вырисовываясь на низком сумрачном небе, спят нахохленные галки на гребне риги... Славный будет день для охоты! И, остановившись среди аллеи, барин долго глядит в осеннее поле, на пустынные зеленые озими, по которым бродят телята. Две гончие суки повизгивают около его ног, а Заливай уже за садом: перепрыгивая по колким жнивьям, он как будто зовет и просится в поле. Но что сделаешь теперь с гончими? Зверь теперь в поле, на взметах, на чернотропе, а в лесу он боится, потому что в лесу ветер шуршит листвою... Эх, кабы борзые!

В риге начинается молотьба. Медленно расходясь, гудит барабан молотилки. Лениво натягивая постромки, упираясь ногами по навозному кругу и качаясь, идут лошади в приводе. Посреди привода, вращаясь на скамеечке, сидит погонщик и однотонно покрикивает на них, всегда хлестая кнутом только одного бурого мерина, который ленивее всех и совсем спит на ходу, благо глаза у него завязаны.

– Ну, ну, девки, девки! – строго кричит степенный подавальщик, облачаясь в широкую холщовую рубаху.

Девки торопливо разметаю ток, бегают с носилками, метлами.

– С Богом! – говорит подавальщик.

И первый пук старновки, пущенный на пробу, с жужжаньем и визгом пролетает в барабан и растрепанным веером возносится из-под него кверху. А барабан гудит все настойчивее, работа закипает, и скоро все звуки сливаются в общий приятный шум молотьбы. Барин стоит у ворот риги и смотрит, как в ее темноте мелькают красные и желтые платки, руки, грабли, солома, и все это мерно двигается и суетится под гул барабана и однообразный крик и свист погонщика. Хоботье облаками летит к воротам. Барин стоит, весь посеревший от него. Часто он поглядывает в поле... Скоро-скоро забелеют поля, скоро покроет их зазимок...

Зазимок, первый снег! Борзых нет, охотиться в ноябре не с чем; но наступает зима, начинается «работа» с гончими. И вот опять, как в прежние времена, съезжаются мелкопоместные друг к другу, пьют на последние деньги, по целым дням пропадают в снежных полях. А вечером на каком-нибудь глухом хуторе далеко светятся в темноте зимней ночи окна флигеля. Там, в этом маленьком флигеле, плавают клубы дыма, тускло горят сальные свечи, настраивается гитара...

На сумерки буен ветер загулял,
Широкий мои ворота растворял, —

начинает кто-нибудь грудным тенором. И прочие нескладно, прикидываясь, что они шутят, подхватывают с грустной, безнадежной удалью:

Широки мои ворота растворял,
Белым снегом путь-дорогу заметал...

1900

Сосны⁷



I

Вечер, тишина занесенного снегом дома, шумная лесная выюга наружи...

Утром у нас в Платоновке умер сотский Митрофан, а в сумерках у меня сидел священник, опоздавший причастить Митрофана, пил чай и долго рассказывал о том, как много народу померзло в нынешнем году...

«Чем не сказочный бор?» – думаю я, прислушиваясь к шуму леса за окнами и к высоким жалобным нотам ветра, налетающего вместе с снежными вихрями на крышу. И мне представляется путник, который кружится в наших дебрях и чувствует, что не найти ему теперь выхода вовеки.

– Есть ли жив-человек в этих хижинах? – говорит он, с трудом различая в белой крутящейся мгле Платоновку.

Но морозный ветер захватывает ему дыхание, слепит снегом, и мгновенно пропадает огонек, который, казалось, мелькнул сквозь выюгу. Да и человечьи ли это хижины? Не в такой ли же черной сторожке жила Баба-яга? «Избушка, избушка, стань к лесу задом, а ко мне передом! Приюти странника в ночь!..»

Лежа весь вечер, я представляю себе, как пугливо и зыбко мерцают мои освещенные окошечки, такие одинокие среди бушующего леса, с головы до ног поседевшего от выюги! Дом стоит у широкой просеки, в затишье, но когда ураган гигантским призраком на снежных крыльях проносится над лесом, сосны, которые высоко царят над всем окружающим, отвечают урагану столь угрюмой и грозной октавой, что в просеке делается страшно. Снег при этом бешено и беспорядочно мчится по лесу, непритворенная дверь в сенцах с необыкновенной силой бьет в стену, а собаки, которые лежат в них, утопая в снегу, как в пуховых постелях, жалобно взвизгивают сквозь сон, дрожа крупной дрожью... И мне опять вспоминается Митрофан, который ждет могилы в такую мрачную ночь.

В комнате тепло и тихо. Стекла холодно играют разноцветными огоньками, точно мелкими драгоценными камнями. Лежанка натоплена жарко, а к шуму и стуку я так привык, что могу не замечать их. Лампа на столе горит ровным сонным светом. Ровно, чуть внятно звенит в ней выгорающий керосин, монотонно и неясно, точно под землей, баюкает кто-то ребенка за стеною в кухне, – не то сама Федосья, не то ее Анютка, которая с малолетства во всем подражает своим вечно вздыхающим теткам, матери. И, прислушиваясь к этому знакомому с детства напеву, к этим шумам и стукам, весь отдаешься во власть долгого вечера.

⁷ Сосны (с. 47). – Журн. «Мир Божий», СПб., 1901, № 11, ноябрь. В. Н. Муромцева-Бунина вспоминает, что Бунин послал Чехову «оттиск... рассказа» («Жизнь Бунина», с. 133). Чехов ответил письмом: «Во-первых, большое спасибо за присланный оттиск, во-вторых, „Сосны“ – это очень ново, очень свежо и очень хорошо, только слишком компактно, вроде сгущенного бульона» (Чехов А. П. Собр. соч. Т. 12. М., 1964. С. 428–429).

Ходит сон по сениям,
А дрема по дверям, —

поет в душе жалобная песня, а вечер реет над головою неслышной тенью, заворачивает сонным звоном в лампе, похожим на замирающее нытье комара, и таинственно дрожит и убегаёт на одном месте темным волнистым кругом, кинутым на потолок лампой.

Но вот в сенцах слышен певучий визг шагов по сухому бархатистому снегу. Хлопают двери в прихожей, и кто-то топает в пол валенками. Слышу, как чья-то рука шарит по двери, ищет скобку, а затем чувствую холод и свежий запах январской метели, сильный, как запах разрезанного арбуза.

— Спите? — спрашивает Федосья осторожным шепотом.

— Нет... А что? Это ты, Федосья?

— Я-с, — отвечает Федосья, меняя голос на громкий и естественный. — Ай я вас разбудила?

— Нет... Ты что?

Вместо ответа Федосья оборачивается к двери — хорошо ли притворила? — и, улыбнувшись, становится к печке. Ей просто хотелось провести меня. Это небольшая, но плотно сбитая баба в полушубке; голова у нее закутана шалью и похожа на совиную, на полушубке и на шали тает снег.

— Там пыль! — говорит она с удовольствием и, ежась, прижимается к печке. — Что, давно вечер-то по часам?

— Половина десятого.

Федосья кивает головою и задумывается. За день она переделала сотни мелких дел. Теперь она в тумане отдыха. Глядя на свет совершенно бессмысленными, удивленными глазами, она с наслаждением затягивается долгим и глубоким зевком и, зевая, бормочет:

— Ах, Господи, что ж это зевается, куда это девается! Вот жалко Митрофана-то! Целый день с ума не идет, а тут еще наши: выехали, нет ли? Поедут — замерзнут!

И вдруг быстро прибавляет:

— Постойте, — в каком ухе звенит?

— В правом, — отвечаю я. — Нынче они не поедут...

— Вот и не угадали! А я было про мужика своего загадала. Боюсь, обморозится...

И, увлеченная думами о выюге, Федосья начинает:

— Так-то на сороки было, на сорок мучеников. Вот, расскажу вам, страсть-то была! Вы-то, известное дело, не помните, вам тогда небось пяти годочков не было, а я-то явственно помню. Сколько тогда народу померзло, сколько обморозилось...

Я не слушаю, я наизусть знаю рассказы о всех метелях, которые помнит Федосья. Я машинально ловлю ее слова, и они странно переплетаются с тем, что я слышу внутри себя. «Не в том царстве, не в том государстве, — певуче и глухо говорит во мне голос старика пастуха, который часто рассказывает мне сказки, — не в том царстве, не в том государстве, а у самом у том, у каком мы живем, жил, стало быть, молодой выюноша...»

Лес гудит, точно ветер дует в тысячу эоловых арф, заглушенных стенами и выюгой. «Ходит сон по сениям, а дрема по дверям», и, намаявшись за день, поевши «соснового» хлеба с болотной водицей, спят теперь по Платоновкам наши былинные люди, смысл жизни и смерти которых Ты, Господи, веши!

Вдруг ветер со всего размаху хлопает сенной дверью в стену и, как огромное стадо птиц, с шумом и свистом проносится по крыше.

— Ох, Господи! — говорит Федосья, вздрагивая и хмурясь. — Хоть бы уж спать скорей в страсть такую! Ужинать-то будете? — прибавляет она, делая над собой усилие, чтобы взяться за скобку.

— Рано еще...

– А мой сгад – нечего третьих петухов ждать! Поужинали бы и спали бы, спали себе!

Дверь медленно отворяется и затворяется, и я опять остаюсь один, все думая о Митрофане.

Это был высокий и худой, но хорошо сложенный мужик, легкий на ходу и стройный, с небольшой, откинутой назад головой и с бирюзово-серыми, живыми глазами. Зимой и летом его длинные ноги были аккуратно обернуты серыми онучами и обуты в лапти, зиму и лето он носил коротенький изорванный полушубок. На голове у него всегда была самодельная заячья шапка шерстью внутрь. И как приветливо глядело из-под этой шапки его обветренное лицо с облупившимся носом и редкой бородкой! Это был Следопыт, настоящий лесной крестьянин-охотник, в котором все производило цельное впечатление: и фигура, и шапка, и заплатанные на коленях портки, и запах курной избы, и одностовка. Появляясь на пороге моей комнаты и вытирая полою полушубка мокрое от метели коричневое лицо, оживленное бирюзовыми глазами, он тотчас же наполнял комнату свежестью лесного воздуха.

– Хорошо у нас! – говорил он мне часто. – Главное дело – лесу много. Правда, хлебушка, случается, не хватает али чего прочего, да ведь на Бога жаловаться некуда: есть лес – в лесу зарабатывай. Мне, может, еще трудней другого, у меня одних детей сколько, а я все-таки иду да иду! Волка ноги кормят. Сколько годов я тут прожил и все не нажился... Я и не помню ничего, что было. Был будто один-два дня летом али, скажем, весной – и больше ничего. Зимних дён больше вспоминается, а все тоже похожи друг на дружку. И ничего не скушно, а хорошо. Идешь по лесу – лес из лесу выходит, синееет, а там прогалина, крест из села виден... Придешь, заснешь – глядь, уж опять утро и опять пошел на работу... была бы шея – хомут найдется! Говорят – живете вы, мол, в лесу, пням молитесь, а спроси его, как надо жить, – не знает. Видно, живи как батрак: исполняй, что приказано, – и шабаш.

И Митрофан действительно прожил всю свою жизнь так, как будто был в батраках у жизни. Нужно было пройти всю ее тяжелую лесную дорогу – Митрофан шел беспрекословно... И разладила его путь только болезнь, когда пришлось пролежать больше месяца в темноте избы, – перед смертью.

– За траву не удержишься! – говорил он мне, снисходительно улыбаясь, когда я советовал ему съездить в больницу.

И кто знает, – не прав ли был он?

«Умер, погиб, не выдержал, – значит, так надо!» – думаю я и поднимаюсь, чтобы пойти на воздух. Надев шубу и шапку, подхожу к лампе. На мгновение шум метели за окном смущает меня, но затем я решительно дую на свет.

В темных пустых комнатах, через которые я прохожу, смутно сереют окна. От налетающих вихрей они то светлеют, то темнеют, – совсем как в корабельной каюте в качку. В прихожей холодно, как в сенцах, и пахнет сырой, промерзлой корой дров, заготовленных на топку. Громадная старинная икона Божией Матери с мертвым Иисусом на коленях чернеет в углу...

На дворе ветер рвет с меня шапку и с головы до ног осыпает меня морозным снегом. Но ох как хорошо поглубже вздохнуть холодным воздухом и почувствовать, как легка и тонка стала шуба, насквозь пронизанная ветром! На мгновение я останавливаюсь и делаю усилие взглянуть... Новый порыв ветра прямо в лицо перехватывает мне дыхание, и я успеваю разглядеть только два-три вихря, промчавшихся по просеке в поле. Гул леса вырывается из шума вьюги, как гул органа. Я крепко нагибаю голову, погружаюсь почти по пояс в сугроб и долго иду, сам не зная куда...

Ни деревни, ни леса не видно. Но я знаю, что деревня направо и что в конце ее, у плоского болотного озера, теперь занесенного снегом, – изба Митрофана. И я иду, – долго, упорно и мучительно, – и вдруг в двух шагах от меня вспыхивает сквозь дым вьюги огонек. Кто-то бросается мне на грудь и чуть не сбивает меня с ног. Наклоняюсь, – собака, которую я подарил Митрофану. Она отскакивает при моем движении с жалобно-радостным визгом назад и броса-

ется к избе, точно хочет показать, что там делается. А у избы, около окошечка, светлым облаком кружится снежная пыль. Огонек освещает ее снизу, из сугроба. Утопая в снегу, я добирюсь до окна и торопливо заглядываю в него. Там, внизу, в слабо освещенной избе, лежит у окна что-то длинное, белое. Племянник Митрофана стоит, наклонившись над столом, и читает Псалтырь. В глубине избы, на нарах, видны в полумраке фигуры спящих баб и детей...

II

Утро. Выглядываю в кусочек окна, не запушенный морозом, и не узнаю леса. Какое величие и спокойствие!

Над глубокими, свежими снегами, завалившими чащи елей, – синее, огромное и удивительно нежное небо. Такие яркие, радостные краски бывают у нас только по утрам в афанасьевские морозы. И особенно хороши они сегодня, над свежим снегом и зеленым бором. Солнце еще за лесом, просека в голубой тени. В колеях санного следа, смелым и четким полукругом прорезанного от дороги к дому, тень совершенно синяя. А на вершинах сосен, на их пышных зеленых венцах, уже играет золотистый солнечный свет. И сосны, как хоругви, замерли под глубоким небом.

Приехали братья из города. Они привезли с собой много бодрости морозного утра. Пока в прихожей обметали вениками валенки, обивали от снега тяжелые воротники шуб и вносили покупки в рогожных кульках, пересыпанных сухой снежной пылью, как мукою, в комнатах находилось и металлически запахло морозным воздухом.

– Градусов сорок будет! – с трудом выговаривает кучер, входя с новым кульком. Лицо у него багровое, – по голосу чувствуется, что оно задеревенело от морозу, – усы, борода и углы воротника на тулупе смерзлись в ледяные сосульки...

– Митрофанов брат пришел, – докладывает Федосья, просовывая голову в дверь, – тесу на гроб просит.

Я выхожу к Антону, и он спокойно рассказывает о смерти Митрофана и деловито переводит разговор на тес. Равнодушие это или сила?.. Скрипя сапогами по замерзшему снегу на крыльце, мы выходим из дому и, переговариваясь, идем к сараю. Воздух крепко сжат утренним морозом, голоса наши раздаются как-то странно, пар от дыхания вьется при каждом слове, точно мы курим. Тонкий остистый иней садится на ресницы.

– Ну и денек Господь послал! – говорит Антон, останавливаясь у сарая, где уже пригревает, и, щурясь от солнца, глядит на густую зеленую стену хвои вдоль просеки и глубокое ясное небо над нею. – Эх, кабы и завтра-то так же! Ладно бы похоронили!

Потом мы отворяем скрипучие ворота насквозь промерзшего сарая. Антон долго гремит досками и наконец взваливает на плечо длинную сосновую тесину. Сильным движением подкинув и поправив ее на плече, он говорит: «Ну, покорнейше благодарим вас!» – и осторожно выходит из сарая. Следы лаптей похожи на медвежьи, а сам Антон идет приседая, принаравливаясь к колебаниям доски, и тяжелая зыбкая доска, перегнувшись через его плечо, мерно покачивается в лад с его движениями. Когда же он, утонув почти по пояс в сугроб, скрывается за воротами, я слышу замирающий скрип его шагов. Вот так тишина! Две галки звонко и радостно сказали что-то друг другу. Одна из них с разлету опустилась на самую верхнюю веточку густо-зеленой, стройной ели, закачалась, едва не потеряв равновесия, – и густо посыпалась и стала медленно опускаться радужная снежная пыль. Галка засмеялась от удовольствия, но тотчас же смолкла... Солнце поднимается, и все тише становится в просеке...

После обеда все ходят смотреть Митрофана. Деревня тонет в снегу. Снежные, белые избушки расположились вокруг ровной белой поляны, и на этой ярко сверкающей под солнцем поляне очень уютно и пригревает. Домовито пахнет дымком, печеным хлебом. Мальчишки берут друг друга на ледяшках, собаки сидят на крышах изб... Совсем дикарская деревушка!

Вон молодая плечистая баба в замашной рубахе любопытно выглянула из сенец... Вон худой, похожий на старичка карлика, дурачок Пашка в дедовской шапке идет за водовозкой. В обмерзлой кадлушке тяжело плескается дымящаяся, темная и вонючая вода, а полозья визжат, как поросенок... Но вот и изба Митрофана.

Какая она маленькая, низенькая и как все буднично вокруг нее! Лыжи стоят у дверей в сенцы. В сенцах дремлет и жует жвачку корова. Стена избы, выходящая в сенцы, сильно подалась от них, и поэтому дверь надо отворять с большими усилиями. Она отлипает наконец, и в лицо пахнуло теплым избяным запахом. В полумраке стоят несколько баб у печки и, пристально глядя на покойника, шепотом переговариваются. А покойник под коленкором лежит в этой напряженной тишине и слушает, как плаксиво и жалостно читает Псалтырь Тимошка.

– Совсем талый! – с умилением говорит одна из баб и, приглашая посмотреть покойника, осторожно приподнимает коленкор.

О, какой важный и серьезный стал Митрофан! Голова маленькая, гордая и спокойно-печальная, закрытые глаза глубоко ввалились, большой нос обрезаюся; большая грудь, приподнятая последним вздохом, точно закаменела, а ниже ее, в глубокой впадине живота, лежат большие восковые руки. Чистая рубаха красиво оттеняет худобу и желтизну. Баба тихо взяла одну руку, – видно, как тяжела эта ледяная рука, – подняла и опять положила. Митрофан остался совершенно равнодушен и продолжал спокойно слушать, что читает Тимошка. Может, он знает даже и то, как ясен и торжественен сегодняшний день, – его последний день в родной деревне?

День этот кажется очень долгим в мертвой тишине. Солнце медленно проходит свой небесный путь, и вот красноватый, парчовый луч уже скользнул в полутемную избу и косо озарил лоб покойника. Когда же я выхожу из избы на улицу, солнце прячется между стволами сосен за частый ельник, теряя свой блеск.

Опять я бреду вдоль просеки. Снега на поляне и крыши изб, которые точно облиты сахаром, алеют. В просеке, в тени, чувствуется, как резко морозит к ночи. Еще чище и нежнее стали краски зеленоватого неба к северу, еще тоньше рисуется мачтовый сосновый лес на его фоне. А с востока уже встала большая бледная луна. Гаснет закат, она подымается все выше... Собака, с которой я хожу вдоль просеки, забегает иногда в ельник и, выскакивая, вся в снегу, из его таинственно-светлых и темных дебрей, замирает вместе с своей резкой черной тенью на ярко озаренной дороге. Месяц уже высоко... В деревушке – ни звука, робко краснеет огонек из тихой избы Митрофана... И большая, остро содрогающаяся изумрудом звезда на северо-востоке кажется звездой у Божьего трона, с высоты которого Господь незримо присутствует над снежной лесной страной...

III

А на следующий день понесли гроб Митрофана по лесной дороге к селу.

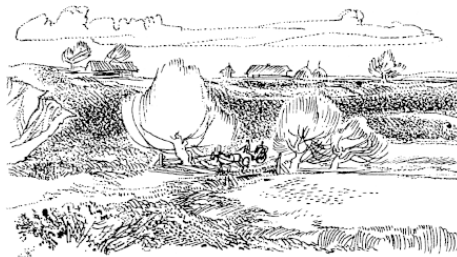
Воздух по-прежнему был резок и морозен, и миллионы мельчайших игл и крестиков тускло поблескивали на солнце, кружась в воздухе. Бор и воздух слегка затуманивались, – только на горизонте к югу ясно и зелено было ледяное небо. Снег пел и визжал под санями, когда я бежал на лыжах в село. Там я долго мерз на паперти, пока наконец увидел среди белой сельской улицы белые зипуны и белый большой гроб из нового тесу. Отворили дверь в церковь, откуда вместе с запахом воска тоже пахнуло холодом: бедная лесная церковка промерзла вся насквозь, – весь иконостас и все иконы побелели от густого матового инея. И когда она наполнилась сдержанным говором, стуком шагов и паром от дыхания, когда с трудом опустили тяжелый разлзатый гроб на пол, торопливым, простуженным голосом заговорил и запел священник. Жидкие синеватые струйки дыма вились над гробом, из которого страшно выглядывал острый коричневый нос и лоб в венчике. Кадило в руках священника было почти пусто, дешевый

ладан, брошенный в еловые уголья, издавал запах лучины, а сам священник, повязанный по ушам платком, был в больших валенках и в старом мужицком полушубке, поверх которого торчала старая риза. Он, наперебой с дьячком, в полчаса справил службу и только «со святыми упокой» пропел не спеша и стараясь придать своему голосу трогательные оттенки, – печаль о бренности всего земного и радость за брата, отошедшего, после земного подвига, в лоно бесконечной жизни, «иде же праведные упоковаются». Напутствуемый протяжным пением, гроб с мерзлым покойником вынесли из церкви, пронесли его по улице и за селом, на пригорке, опустили в неглубокую яму, которую и закидали мерзлой глинистой землей и снегом. В снег воткнули елочку и, покряхтывая от мороза, торопливо разошлись и разъехались.

Глубокая тишина царила теперь на лесной полянке, по которой торчало из сугробов несколько низких деревянных крестов. Беззвучно кружились в воздухе бесчисленные морозные остинки, где-то высоко над головой тянул сдержанный, глухой и глубокий гул: так шумит под вечер в отдалении море, когда оно скрыто за горами. Мачтовые сосны, высоко поднявшие на своих глинисто-красноватых голых стволах зеленые кроны, тесной дружиной окружали с трех сторон пригорок. Под ним широко синела еловыми лесами низменность. Длинный земляной бугор могилы, пересыпанный снегом, лежал на скате у моих ног. Он казался то совсем обыкновенной кучей земли, то значительным – думающим и чувствующим. И, глядя на него, я долго силился поймать то неуловимое, что знает только один Бог, – тайну ненужности и в то же время значительности всего земного. Потом я крепко двинул лыжи под гору. Облако холодной снежной пыли взвилось мне навстречу, и по всему девственно-белому, пушистому косогору правильно и красиво прорезались два параллельных следа. Не удержавшись, я упал под горой в густой и необыкновенно зеленый ельник, набил в рукава снегу. Задев за ельник, я быстро пошел зигзагами между его кустами. Траурные сороки с резким стрекотанием, игриво качаясь в воздухе, перелетали над ними. Минуты текли за минутами – я все так же равномерно и ловко совал ногами по снегу. И уже ни о чем не хотелось думать. Тонко пахло свежим снегом и хвоей, славно было чувствовать себя близким этому снегу, лесу, зайцам, которые любят объедать молодые побеги елочек... Небо мягко затуманивалось чем-то белым и обещало долгую тихую погоду... Отдаленный, чуть слышный гул сосен сдержанно и немолчно говорил и говорил о какой-то вечной, величавой жизни...

1901

Золотое дно⁸



I

Тишина – и запустение. Не оскудение, а запустение...

Не спеша бегут лошади среди зеленых холмистых полей; ласково веет навстречу ветер, и убаюкивающе звенят трели жаворонков, сливаясь с однообразным топотом копыт. Вот с одного из косогоров еще раз показалась далеко на горизонте низким синеющим силуэтом станция. Но, обернувшись через минуту, я уже не вижу ее. Теперь вокруг тарантаса – только пары, хлеба и лошадки с дубовым кустарником...

– Ну, что новенького, Корней? – спрашиваю я кучера, молодого загорелого мужика с умными, слегка прищуренными глазами.

– Новенького? – сдержанно отвечает Корней, не оборачиваясь. – Нового у нас ничего нету.

– Значит, живете по-старому?

– Это правильно. Плохо живем...

Не много нового узнаю я и в имении сестры, где я всегда делаю остановку на пути к Родникам. Кажется, что еще год тому назад усадьба не была так ветха. Полы и потолки в зале еще немного покосились и потемнели, ветви запущенного палисадника лезут в окна, тесовые крыши служб серебрятся и дают кое-где трещины... А по двору, держа в поводу худого стригуна, запряженного в водовозку, еле бредет полуслепой и глухой Антипушка, и разошедшиеся колеса водовозки порою так неистово взвизгивают, что больно слушать.

– Так плохи, говоришь, дела? – спрашиваю я сестру, которая задумчиво смотрит куда-то вдаль, на косогоры за лугами и речкой.

– Совсем, совсем плохи! – поспешно, как будто даже с удовольствием подтверждает сестра. – Будь капитал, еще, может быть, можно было бы поправиться. Ведь земля-то сущее золотое дно. Но банк, банк!

– Зато тишина-то какая! – говорю я.

– Уж этого хоть отбавляй! – с угрюмой иронией соглашается племянник-студент. – Действительно тишина, и прескверная, черт ее дери, тишина! Вроде высыхающего пруда. Издали – хоть картину пиши. А подойди – затхлостью понесет, ибо воды-то в нем на вершок, а тины – на две сажени, и караси все подошли... Дно-то, действительно, золотое, только до него сам черт не докопается!

⁸ Золотое дно (с. 59). – Сб. «Знание», кн. 1, СПб., 1904, вместе с рассказом «Сны» под общим названием «Чернозем». По рассказу было дано название сборнику, который вышел двумя изданиями в Книгоиздательстве писателей в Москве в 1913-м и 1914 гг. Подготавливая «Золотое дно» для этих сборников, Бунин провел большую работу над рассказом: он разделил текст на пять глав, исключил многие авторские отступления, где говорилось об ушедшей деревенской жизни.

II

Дорога вьется сперва по перелескам. Потом пропадает в большом кологривовском заказе. В прежнее время она далеко обходила его; теперь ездит прямо, по двору усадьбы, раскинувшейся по бокам лесного оврага своим одичавшим садом и кирпичными службами. Как только в лес врывается гроыхание бубенчиков, из усадьбы отвечает ему угрюмый лай овчарок, ведущих свой род от тех свирепых псов, что сторожили когда-то не менее свирепую и угрюмую жизнь старика Кологривова. Пока тарантас, сопровождаемый лаем, с грохотом катится по мостикам через овраги, смотрю на груды кирпичей, оставшихся от сгоревшего дома и потонувших в бурьяне, и думаю о том, что сделал бы старик Кологривов, если бы увидел нахалов, скачущих по двору его усадьбы! В детстве я слышал про него поистине ужасы. Одна из любовниц пыталась опоить его какими-то колдовскими травами, – он заточил ее своим судом в монастырь. Когда объявили волю, он «тронулся», как говорили, «в отделку» и с тех пор почти никогда не показывался из дому. Медленно разоряясь, он по ночам, дрожа от страха, что его убьют, сидел в шапочке с мощей угодника и громко читал заговоры, псалмы и покаянные молитвы собственного сочинения. Осенью однажды его нашли в моленной мертвым...

– Не знаешь, не продали еще? – спрашиваю я Корнея.

– Продали, – отвечает он. – И продали-то, говорят, за трынку! Живет тут приказчик от наследников, а ему что ж? Не свое доброе. Без хозяина, известно, и товар – сирота. А земля тут – прямо золотое дно!

– Хороша?

– Аршин чернозему. А лес-то!

Правда, славный лес. Горько и свежо пахнет березами, весело отдается под развесистыми ветвями гроыхание бубенчиков, птицы сладко звенят в зеленых чашах... На полянах, густо заросших высокой травой и цветами, просторно стоят столетние березы по две, по три на одном корню. Предвечерний золотистый свет наполняет их тенистые вершины. Внизу, между белыми стволами, он блестит яркими длинными лучами, а по опушке бежит навстречу тарантасу стальными просветами. Просветы эти трепещут, сливаются, становятся все шире... И вот опять мы в поле, опять веет сладким ароматом зацветающей ржи, и пристяжные на бегу хватают пучки сочных стеблей...

– А вон и Батурино, – насмешливо говорит Корней.

И я уже понимаю его.

– И тут плохо?

– Да уж молодые-то уехали, а старуха дом продает. Добилась до последнего.

– А как бы заглянуть туда?

– Да скажите, что, мол, дом себе для Родников присматриваю...

III

В Батурине – это большая деревня, но уж известно, что такое «барская» деревня! – в Батурине тихо. Скучно лоснится на солнце мелкий длинный пруд желтой глинистой водой; баба возле навозной плотины лениво бьет вальком по мокрому серому холсту... С плотины дорога поднимается в гору мимо батуринского сада. Сад еще до сих пор густ и живописен, и, как на идиллическом пейзаже, стоит за ним серый большой дом под бурой, ржавой крышей. Но усадьба, усадьба! Целая поэма запустения! От варка остались только стены, от людской избы – раскрытый остов без окон, и всюду, к самым порогам, подступили лопухи и глухая крапива. А на «черном» крыльце стоит и в страхе глядит на меня слезящимися глазами какая-то старуха.

Поняв из моих неловких объяснений, что я хочу посмотреть дом, она спешит предупредить барыню.

– Я доложу-с, доложу-с, – бормочет она, скрываясь в темных сенях.

Больно, должно быть, Батуриной выходить после таких докладов! И правда, – когда через несколько минут отворяется дверь, я вижу растерянное старческое лицо, виноватую улыбку голубых кротких глаз... Делаем вид, что мы очень рады друг другу, что этот осмотр дома – вещь самая обыденная, и Батурина любезным жестом приглашает войти, а другой дрожащей рукой старается застегнуть ворот своей темной кофточки из дешевенького нового ситцу.

Бормоча что-то притворное, я вхожу в переднюю... О, да это совсем ночлежка! Темно, душно, стены закопчены дымом махорки, которую курит бывший староста Батуриных, Дрон, не покинувший усадьбу и доньне... Направо – дверь в его каморку, прямо – комната старух, скудно освещенная окном с двойными рамами, с радужными от старости стеклами...

– Мы ведь в пристройке-с теперь живем, – виновато поясняет Батурина. – Ведь знаете, какие года-то пошли, да и теплее тут зимою...

– Но, может быть, я беспокою вас?

Старуха трясет головой и смотрит недоумевающе и вопросительно.

– Не беспокою ли я вас? – говорю я громче.

Расслышав, Батурина поспешно улыбается.

– Нет-с, нет-с, – отвечает она с ласковой снисходительностью. – Пожалуйте-с.

И отворяет дверь в коридор...

Еще мрачнее в этих пустых комнатах! Первая, в которую я заглядываю из коридора, была когда-то кабинетом, а теперь превращена в кладовую: там ларь с солью, кадушка с пшеном, какие-то бутылки, позеленевшие подсвечники... В следующей, бывшей спальне, возвышается пустая и огромная, как саркофаг, кровать... И старуха отстает от меня и скрывается в кладовой, якобы чем-то озабоченная. А я медленно прохожу в большой гулкий зал, где в углах свалены книги, пыльные акварельные портреты, ножки столов... Галка вдруг срывается с криво висящего над ломберным столиком зеркала и на лету ныряет в разбитое окно... Вздвогнув от неожиданности, я отступаю к стеклянной двери на разохшийся балкон, с трудом отворяю ее – и прикрываю глаза от низкого яркого солнца. Какой вечер! Как все цветет и зеленеет, обновляясь каждую весну, как сладостно журчат в густом вишеннике, перепутанном с сиренью и шиповником, кроткие горлинки, верные друзья погибающих помещичьих гнезд!

IV

Вечер в поле встречает нас целым архипелагом пышных золотисто-лиловых облаков на западе, необыкновенной нежностью и ясностью далей.

– Дядя, дай серничка! – кричит один из мальчишек, стерегущих на парах лошадей, и, вскочив с межи, бегом догоняет тарантас.

Но Корней суров и задумчив. Он с наслаждением вытягивает мальчишку кнутом и сдержанно покрикивает на лошадей.

«О чем он думает?» – думаю я, глядя на его выгоревший на солнце картуз.

И Корней слегка повертывается на облучке и, следя задумчивым взглядом за мелькающими подковами пристяжной, начинает говорить...

– Всем не мед, – говорит он. – Не одним господам... Крестьянский банк, мол, помогает! Да нет, в долг-то не проживешь! Купят мужики сто – двести десятин, – конечно, компанией, не сообразясь с силой, и запутляются, и норовят слопать друг друга.

А пойдут свары – дело и совсем изгадится, и хоть на перемет с обрывком лезь!

– Однако, – говорю я, – крупных-то господ осталось три-четыре на уезд, – значит, расходуется земля по народу.

– По городским купчишкам да лавошникам, – поправляет Корней. – По ним, а не по народу... И опять же земля без настоящего хозяина остается: им ведь только бы купить, благо дешево, а жить-то они ведь тут не станут! Ну, вот их-то, чертей, и зажать бы в тесном месте!

– Следовало бы?

Но Корней отводит глаза в сторону.

– Попоить пора, – говорит он деловым тоном.

– На Воргле попоим.

– Ну, на Воргле так на Воргле... Эй, не рано!

Свежеет, и блеск вечера меркнет. Меланхолично засинели поля, далеко-далеко на горизонте уходит за черту земли огромным мутно-малиновым шаром солнце. И что-то старорусское есть в этой печальной картине, в этой синеющей дали с мутно-малиновым щитом. Вот он еще более потускнел, вот от него остался только сегмент, потом – дрожащая огневая полоска... Быстро падает синеватый сумрак летней ночи, точно кто незримо сеет его; в лужках уже холодно, как в погребе, и резко пахнет росистой зеленью, – только изредка повеваает откуда-то теплом... В сумраке мелькают придорожные лозинки, и на них, нахохлившись, спят вороны... А на востоке медленно показывается большая голова бледного месяца.

Как печальны кажутся в это время темные деревушки, мертвую тишину которых будит звук рессор и бубенчиков! Как глуха и пустынна кажется старая большая дорога, давно забытая и неезженная! Слава Богу, хоть месяц всходит! Всё веселее...

V

Воргол – нежилой хутор покойной тетки, степная деревушка на месте снесенной дедовской усадьбы и большого села, три четверти которого ушло в Сибирь, на новые места. Дорога долго идет под изволок; когда уже становится совсем светло от месяца, тарантас шибко подкапывает по густой росистой траве к одинокому флигелю на скате котловины среди косогоров. Звон бубенчиков замирает, и нас охватывает гробовое молчание.

– Уж и глухо же тут! – говорит Корней, слезая с козел, и голос его странно звучит возле пустых стен. – Посидите тут на крылечке, а я лошадей попою и овсеца им кину.

И медленно отводит громыхающих бубенчиками лошадей под гору к колодцу. А я поднимаюсь на деревянное крыльцо флигеля и сажусь на ступеньку...

Но жутко здесь, в этой котловине, со всех сторон замкнутой холмами, спускающимися к пересохшему руслу Воргла, и бледно освещенной неверным месячным светом! Пустой широкий двор переходит в мужицкий выгон, а за выгоном чернеет семь приземистых избушек, глубоко затаивших в себе свою ночную жизнь...

– Корней, – говорю я, как только Корней показывается с лошадьми из-под горы, – надо ехать! Поедем шажком, а уж покормим дома.

Корней останавливается.

– Ай соскучились?

– Соскучился. Ну его к черту!.. Едем.

– Это еще милость, – говорит Корней насмешливо. – Вы бы осенью али зимой заехали.

– И как вы только живете тут!

Корней завертывает сигарку, глядя в землю, и долго молчит. Потом сдержанно отвечает:

– Живем пока...

– То есть как «пока»? А потом-то что ж?

– Потом – что Бог даст. Все что-нибудь да будет...

– Что же?

– Да что-нибудь будет... Не век же тут сидеть, чертям оборки вить! Разойдется народ по другим местам, либо еще как...

– А как?

При свете месяца ясно видно лицо Корнея, но, опуская голову, он сдвигает брови и отводит глаза в сторону.

– Как иначе-то?

– Там видно будет, – отвечает Корней уже совсем хмуро. – Поедемте, барин, не рано!

И молча лезет на козлы.

1903

Далекое⁹



Иле девять лет. На нем гимназический картуз, шелковая коричневая косоворотка, козловые сапожки с сафьяновым ободком на голенищах. Он сидит сзади отца на беговых дрожках, дрожки шибко катятся большой дорогой, а вокруг поле, летнее жаркое утро...

Старую донскую кобылу подали к крыльцу чуть не на рассвете. Но, Боже, сколько раз заглядывал Иля в кабинет отца, в тщетной надежде, что разговор со старостой кончен! Уже и росистая трава в тени от амбаров успела высохнуть, и запахло в саду оцепеневшей на солнечном припеке черемухой... Даже кобыла и та стала задремывать от скуки: осела на левую заднюю ногу, прижала одно ухо, прикрыла глаза...

Но всему бывает конец, кончилась и пытка ожидания. Держится Иля за кожаную подушку сиденья, задрав ноги на заднюю ось и почти касаясь лбом ружейных стволов на спине отца, поглядывает, как трепещут сверкающие на солнце спицы, как бежит по пыли возле них белая, с подпалинами, Джальма, близко видит загорелую шею и широкий затылок под белым картузом... Солнце стоит высоко и сильно припекает, кожа на дрожках стала горячая, – приятно пахнет нагретой кожей и колесной мазью. Душная, густая пыль облаком встает из-под колес, парусиновый пиджак на плечах отца темнеет... Но вот и проселок – полевой рубеж, длинным узким коридором теряющийся меж стенами высокой серо-зеленой ржи. Отец сдерживает лошадь и закуривает, пуская через плечо клуб душистого дыма...

Ах, эти проселки! Весело ехать по глубоким колеям, заросшим муравой, повиликой, какими-то белыми и желтыми цветами на длинных стеблях. Ничего не видно ни впереди, ни по сторонам – только бесконечный, суживающийся вдаль пролет меж стенами колосистой гущи да небо, а высоко на небе – жаркое солнце. Синие васильки, лиловый куколь и желтая сурепка цветут во ржи. Дрожки задевают колосья, растущие кое-где по дороге, и они однообразно клонятся под колесами и выходят из-под них черными, испачканными колесной мазью. Мелкие кузнечики сухим дождем непрерывно сыплются из подорожника... Неожиданно потянуло откуда-то легким ветерком, солнечной теплотой... Отец подбирает вожжи... И опять заиграли спицы, закружились перед глазами пестрые венки навертевшихся на втулки цветов, запрыгали дрожки по выбоинам... Тут надо держаться покрепче, но, ухватившись за сиденье обеими руками, все-таки пристально следишь за тем, как навстречу, лоснясь, бегут серо-зеленые волны, как тень от облачка то там, то здесь на мгновение затушевывает их, как носится, хлопая ушами, за перепелами и жаворонками Джальма: иногда совершенно пропадает во ржи, – только по волнистой линии, струящейся за нею, видно, где она, – а иногда высоко выпрыгивает из колосьев, удивленно озираясь по сторонам...

⁹ Далекое (с. 68). – Журн. «Правда», М., 1904, № 3, март, под заглавием «В хлебах». В Полном собрании сочинений публиковался под заглавием «Сон Обломова-внука». В газете «Последние новости» (Париж, 1937, № 5993, 22 августа) Бунин напечатал новую, измененную, редакцию этого рассказа под заглавием «Восемь лет» с примечанием «Жизнь Арсеньева. Вариант первого наброска» (сообщено Л. Котляр). Судя по примечанию, эту редакцию следует рассматривать как один из вариантов «Жизни Арсеньева».

Порою встречалась телега, в ней – баба с белоголовым мальчиком на коленях, которая неумело держит веревочные вожжи, неумело сворачивает, заезжая в рожь, а бокастая лошаденка с жадностью хватается губами колосья... Встретился однажды мужик: он без шапки сидел на грядке телеги, возле длинного узкого гробика из золотистого теса, и веселое лучистое солнце жарко пекло его лохматую голову... Встречался урядник верхом на худой, длинношеей кляче или бородатый, могучий о. Алексей в широкополой шляпе, высоко восседавший на своей тележке, за которой бежал жеребенок мышиного цвета, на длинных, тонких ножках... А не то вдали показывался тарантас, а в тарантасе – загорелый помещик в крылатке, в дворянском картузе, с изумленно выкаченными белками. Увидав соседа, он изумлялся еще более, радостно таращил глаза и разводил руками, меж тем как кучер в плисовой безрукавке и круглой шапочке с павлиньими перьями останавливал тройку. Останавливал лошадь и отец, слезал с дрожек навстречу вылезавшему из тарантаса толстяку – и начинались бесконечные разговоры. Помещик говорит страшно громко, размахивает руками и все кого-то бранит... Потом над чем-то долго, с мучительным наслаждением хохочет, сотрясаясь всем телом... Отец тоже кричит и тоже хохочет.

– Ну, до свиданья, до свиданья! – наконец говорит он, нахохотавшись.

– До свиданья, батюшка, очень рад был встретиться!

– Мой поклон вашему семейству!

– И вашим также передайте мой сердечный привет!

– Восемнадцатого будете?

– Обязательно, обязательно!

Помещик становится на подножку тарантаса, накренивая его, с трудом усаживается... Но не проходит и минуты, как сзади опять раздается крик:

– Сосед! На минуточку!

И опять стоянка, опять разговоры...

Утомленная, но счастливая своими хлопотами Джальма сидит у колес и жарко дышит, изредка, с коротким стуком, ловя зубами мух. В небе блестят и кудрявятся белые облака, всюду столько света и радости, как бывает лишь в июне, и все неподвижнее становится воздух к полудню. Два желтых мотылька, как два лепестка розы, беззвучно и однообразно играют над склонившимися в оцепенении колосьями, над цветами и травами, нагретыми зноем. Сладко пахнет васильками. И, шурясь от солнца, Иля в забытии следит за облаком, похожим на пуделя, которое, медленно тая, плывет по светозарной сини неба, прислушивается, как сипят в траве кузнечики, а над головою на тысячу ладов сонно звенит жалобными дискантами воздушная музыка насекомых, неумолчно воспевающих дали, млеющие в мареве зноя, радость и свет солнца, беспричинную, божественную радость жизни...

Наговорившись, отец гонит лошадь шибко, и дрожки прыгают и несутся под изволок, к какому-то широкому логу среди степных косоогоров. За этим логом следует подъем на покатую гору, залитую зелеными овсами, а с горы открывается вид на новый, еще более широкий и разлтый лог. Тут были заливные болотистые лужки, и мелкая степная речка, извивавшаяся по ним, делала много широких затонов, густо заросших зелеными щетками куги. Оттого, что горизонт был со всех сторон замкнут этими похожими на ржаные хлебы косогородами, глухо было тут на редкость, но какая милая, своеобразная жизнь, жизнь куличков, бекасов и диких чирков, чувствовалась в тишине и глуши этих мелких затонов!

– Держись! – кричит отец сквозь дребезжание бегущих под гору дрожек.

И вдруг дребезжание сразу обрывается.

Под горою ветерок спадает. Солнце печет, колеса шуршат в густой, насыщенной водой траве. Пресно пахнет теплым илом, разогретой кугою; белая как снег рыбалка неожиданно вырывается из кочкарников и сверкает в воздухе острыми крыльями... А вот и болото – серебристо-зеркальные затоны с островками тонколистой осоки...

Не спуская с них глаз, отец передает Иле вожжи, осторожно слезает с дрожек и, скинув ружье, торопливо, но бесшумно направляется к ним.

– Джальма! – строго, отрывисто и негромко говорит он каким-то особым, условным тоном Джальме, которая перепрыгивает с кочки на кочку с высунутым языком. Длинные сапоги его тонут в мягких кочкарниках, серебристые пузыри болотного газа остаются в его следах, отпечатывающихся в бархатистой и влажной траве... От солнца и блеска воды светло так, что больно смотреть. – Джальма!

И Джальма, быстро оглянувшись, вдруг – бултых в воду и, наслаждаясь прохладой, медленно плывет к затону, к камышам. Из воды видна только ее вытянутая прилизанная голова с опущенными ушами и длинный хвост, который плывет за ней, как чужой, как палка. Потом и голова и хвост заворачивают в камыши, отец входит по колена в воду и тоже скрывается в камышах. Проходит десять, двадцать минут напряженного молчания... Где-то далеко раздастся тяжкий, глухой выстрел... Весь восторженувшись, пристально глядит Иля вперед, но за камышами ничего не видно. В камышах что-то осторожно попискивает и булькает; по широкой луже недалеко от дрожек, извиваясь, проплывает уж; перламутрово-голубые стрекозы с треском распускают длинные стеклянные крылышки, вылетая из горячей травы, а высоко в небе медленно вырастает и вытягивается большое белоснежное облако... Вот оно приняло образ сказочного исполина, а из затона, в котором, углубляя его, ярко светит отражение этого исполина, что-то глухо, угрюмо и жалобно ухнуло... Ухнуло и выжидательно замолчало...

– Бычки! – вспоминает Иля загадочное слово, оброненное отцом, и весь замирает от сладкого ужаса.

Воображение мгновенно создает образ какого-то фантастического существа, одного из тех страшных подводных жителей, что глубоко скрываются в болотах и только изредка высывают свои лобастые рогатые головы с выпученными глазами на свет Божий. Что, если выглянет такой бычок именно теперь, в этот безмолвный час знойного полдня? И, косясь на затон, Иля не замечает, что картуз его съехал на затылок, что комары облепили ему потную шею и руки и что ослепительно жаркое солнце бьет прямо в лицо...

Вдруг раздается кашель. Иля вздрагивает и мгновенно возвращается к действительности. Отец идет, по пояс мокрый, хлопает тяжелыми сапогами, налитыми болотной водой.

– Тут... бычки, – говорит Иля нерешительно.

– Ну и что же?

– Они очень большие?

– Кто? Бычки-то? Да ведь это жучки! Водяные жучки!

– Как жучки? – бормочет Иля, пораженный и разочарованный.

Отец раскраснелся, расстегнул ворот рубахи, лицо у него доброе и оживленное. Подойдя к дрожкам, он бросает Иле убитого чирка, и, мгновенно забыв о бычках, Иля с жадностью ловит его на лету. Чирок еще теплый! Головка с закатившимися глазами, подернутыми белесою пленкой, бессильно падает на радужный зобик, брюшко в запекшейся крови... Но как оно славно пахнет тиной и порохом! И Джальма вылезает из осоки тоже веселая и удовлетворенная. Глаза безумные, с длинного красного языка льет слюна, белая атласная шерсть вся прилизана, уши висят, ноги в иле, – точно в черных чулках...

Мокрые блестящие шины колес снова шуршат по бархатной сочной траве, изредка врезываясь в воду и разбрасывая во все стороны светлые длинные брызги. Лужи, в которых золотыми полосами то там, то здесь резко вспыхивает жаркий солнечный блеск, мелькают перед глазами... Из куги то и дело с жалобными стонами вырываются кулички... Потом мягкий кочкарник сразу обрывается, – дрожки снова трещат по дороге, убегающей в гору...

Ах, когда Иля вырастет, он будет самым счастливым человеком в мире! Он поселится на хуторе, будет жить только охотой, будет каждый день чистить кирпичом и промывать свое

ружье, будет варить себе кулеш, спать возле порога дома на войлоке, а просыпаться еще в ту пору, когда едва-едва брезжит зелено-серебристый рассвет...

Но и теперь чудесно. Дышит Илья чистым полевым ветром, слушает хохлатых жаворонков, распевających над полями, в облаках, в бесконечном просторе... Степь вокруг, куда ни кинь взор, зеленая, ровная, вольная. И ни души в степи, ни кустика, ни деревца, – только далеко впереди машет, как утопающий руками, чья-то мельница.

1903–1926

Цифры¹⁰



I

Мой дорогой, когда ты вырастешь, вспомнишь ли ты, как однажды зимним вечером ты вышел из детской в столовую, остановился на пороге, – это было после одной из наших ссор с тобой, – и, опустив глаза, сделал такое грустное личико?

Должен сказать тебе: ты большой шалун. Когда что-нибудь увлечет тебя, ты не знаешь удержу. Ты часто с раннего утра до поздней ночи не даешь покоя всему дому своим криком и беготней. Зато я и не знаю ничего трогательнее тебя, когда ты, насладившись своим буйством, притихнешь, побродишь по комнатам и наконец подойдешь и сиротливо прижмешься к моему плечу! Если же дело происходит после ссоры и если я в эту минуту скажу тебе хоть одно ласковое слово, то нельзя выразить, что ты тогда делаешь с моим сердцем! Как порывисто кидаешься ты целовать меня, как крепко обвиваешь руками мою шею, в избытке той беззаветной преданности, той страстной нежности, на которую способно только детство!

Но это была слишком крупная ссора.

Помнишь ли, что в этот вечер ты даже не решился близко подойти ко мне?

– Покойной ночи, дядечка, – тихо сказал ты мне и, поклонившись, шаркнул ножкой.

Конечно, ты хотел, после всех своих преступлений, показаться особенно деликатным, особенно приличным и кротким мальчиком. Нянька, передавая тебе единственный известный ей признак благовоспитанности, когда-то учила тебя: «Шаркни ножкой!» И вот ты, чтобы задобрить меня, вспомнил, что у тебя есть в запасе хорошие манеры. И я понял это – и поспешил ответить так, как будто между нами ничего не произошло, но все-таки очень сдержанно:

– Покойной ночи.

Но мог ли ты удовлетвориться таким миром? Да и лукавить ты не горазд еще. Перестрадав свое горе, твое сердце с новой страстью вернулось к той заветной мечте, которая так пленяла тебя весь этот день. И вечером, как только эта мечта опять овладела тобою, ты забыл и свою обиду, и свое самолюбие, и свое твердое решение всю жизнь ненавидеть меня. Ты помолчал, собрал силы и вдруг, торопясь и волнуясь, сказал мне:

– Дядечка, прости меня... Я больше не буду... И, пожалуйста, все-таки покажи мне цифры! Пожалуйста!

Можно ли было после этого медлить ответом? А я все-таки помедлил. Я, видишь ли, очень, очень умный дядя...

¹⁰ Цифры (с. 75). – Сб. «Новое слово», кн. 1, М., 1907. М. П. Чехов в письме от 15 июня 1907 г. писал Бунину: «Вы написали очаровательный рассказ. Я прочел в „Новом слове“ Ваши „Цифры“ и все время нахожусь под их впечатлением... это одно из лучших произведений последнего времени» (ЦГАЛИ). Понравился рассказ и Н. Д. Телешову, что видно из письма к нему И. А. Бунина от 7 июля 1907 г.: «Спасибо, что хвалишь „Цифры“» (ИМЛИ). Подготавливая рассказ для Полного собрания сочинений, Бунин провел в нем стилистическую правку.

II

Ты в этот день проснулся с новой мыслью, с новой мечтой, которая захватила всю твою душу.

Только что открылись для тебя еще не изведанные радости: иметь свои собственные книжки с картинками, пенал, цветные карандаши – непременно цветные! – и выучиться читать, рисовать и писать цифры. И все это сразу в один день, как можно скорее. Открыв утром глаза, ты тотчас же позвал меня в детскую и засыпал горячими просьбами: как можно скорее выписать тебе детский журнал, купить книг, карандашей, бумаги и немедленно приняться за цифры.

– Но сегодня царский день, все заперто, – соврал я, чтобы оттянуть дело до завтра или хоть до вечера: уж очень не хотелось мне идти в город.

Но ты замотал головою.

– Нет, нет, не царский! – закричал ты тонким голоском, поднимая брови. – Вовсе не царский, я знаю.

– Да уверяю тебя, царский! – сказал я.

– А я знаю, что не царский! Ну пожа-алуйста!

– Если ты будешь приставать, – сказал я строго и твердо то, что говорят в таких случаях все дяди, – если ты будешь приставать, так и совсем не куплю ничего.

Ты задумался.

– Ну что ж делать! – сказал ты со вздохом. – Ну царский так царский. Ну а цифры? Ведь можно же, – сказал ты, опять поднимая брови, но уже басом, рассудительно, – ведь можно же в царский день показывать цифры?

– Нет, нельзя, – поспешно сказала бабушка. – Придет полицейский и арестует... И не приставай к дяде.

– Ну, это-то уж лишнее, – ответил я бабушке. – А просто мне не хочется сейчас. Вот завтра или вечером – покажу.

– Нет, ты сейчас покажи!

– Сейчас не хочу. Сказал – завтра.

– Ну во-от, – протянул ты. – Теперь говоришь завтра, а потом скажешь – еще завтра. Нет, покажи сейчас!

Сердце тихо говорило мне, что я совершаю в эту минуту великий грех – лишаю тебя счастья, радости... Но тут пришло в голову мудрое правило: вредно, не полагается баловать детей.

И я твердо отрезал:

– Завтра. Раз сказано – завтра, значит, так и надо сделать.

– Ну хорошо же, дядька! – пригрозил ты дерзко и весело. – Помни ты это себе!

И стал поспешно одеваться.

И как только оделся, как только пробормотал вслед за бабушкой: «Отче наш, иже еси на небеси...» – и проглотил чашку молока, – вихрем понесся в зал. А через минуту оттуда уже слышались грохот опрокидываемых стульев и удалые крики...

И весь день нельзя было унять тебя. И обедал ты наспех, рассеянно, болтая ногами, и все смотрел на меня блестящими странными глазами.

– Покажешь? – спрашивал ты иногда. – Непременно покажешь?

– Завтра непременно покажу, – отвечал я.

– Ах как хорошо! – вскрикивал ты. – Дай Бог поскорее, поскорее завтра!

Но радость, смешанная с нетерпением, волновала тебя все больше и больше. И вот, когда мы – бабушка, мама и я – сидели перед вечером за чаем, ты нашел еще один исход своему волнению.

III

Ты придумал отличную игру: подпрыгивать, бить изо всей силы ногами в пол и при этом так звонко вскрикивать, что у нас чуть не лопались барабанные перепонки.

– Перестань, Женя, – сказала мама. В ответ на это ты – трах ногами в пол!

– Перестань же, деточка, когда мама просит, – сказала бабушка.

Но бабушки-то ты уж и совсем не боишься. Трах ногами в пол!

– Да перестань, – сказал я, досадливо морщась и пытаясь продолжать разговор.

– Сам перестань! – звонко крикнул ты мне в ответ, с дерзким блеском в глазах и, подпрыгнув, еще сильнее ударил в пол и еще пронзительнее крикнул в такт.

Я пожал плечом и сделал вид, что больше не замечаю тебя.

Но вот тут-то и начинается история.

Я, говорю, сделал вид, что не замечаю тебя. Но сказать ли правду? Я не только не забыл о тебе после твоего дерзкого крика, но весь похолодел от внезапной ненависти к тебе. И уже должен был употреблять усилия, чтобы делать вид, что не замечаю тебя, и продолжать разыгрывать роль спокойного и рассудительного.

Но и этим дело не кончилось.

Ты крикнул снова. Крикнул, совершенно позабыв о нас и весь отдавшись тому, что происходило в твоей переполненной жизнью душе, – крикнул таким звонким криком беспричинной, божественной радости, что сам Господь Бог улыбнулся бы при этом крике. Я же в бешенстве вскочил со стула.

– Перестань! – рявкнул я вдруг, неожиданно для самого себя, во все горло.

Какой черт окатил меня в эту минуту целым ушатом злобы? У меня помутилось сознание. И надо было видеть, как дрогнуло, как исказилось на мгновение твое лицо молнией ужаса!

– А! – звонко и растерянно крикнул ты еще раз.

И уже без всякой радости, а только для того, чтобы показать, что ты не испугался, криво и жалко ударил в пол каблуками.

А я – я кинулся к тебе, дернул тебя за руку, да так, что ты волчком перевернулся передо мною, крепко и с наслаждением шлепнул тебя и, вытолкнув из комнаты, захлопнул дверь.

Вот тебе и цифры!

IV

От боли, от острого и внезапного оскорбления, так грубо ударившего тебя в сердце в один из самых радостных моментов твоего детства, ты, вылетевши за дверь, закатился таким страшным, таким пронзительным альтом, на какой не способен ни один певец в мире. И надолго, надолго замер... Затем набрал в легкие воздуха еще больше и поднял альт уже до невероятной высоты...

Затем паузы между верхней и нижней нотами стали сокращаться, – вопли потекли без умолку. К воплям прибавились рыдания, к рыданиям – крики о помощи. Сознание твое стало проясняться, и ты начал играть, с мучительным наслаждением играть роль умирающего.

– О-ой, больно! Ой, мамочка, умираю!

– Небось не умрешь, – холодно сказал я. – Покричишь, покричишь, да и смолкнешь.

Но ты не смолкал.

Разговор, конечно, оборвался. Мне было уже стыдно, и я зажигал папиросу, не поднимая глаз на бабушку. А у бабушки вдруг задрожали губы, брови, и, отвернувшись к окну, она стала быстро, быстро колотить чайной ложкой по столу.

– Ужасно испорченный ребенок! – сказала, нахмуриваясь и стараясь быть беспристрастной, мама и снова взялась за свое вязанье. – Ужасно избалован!

– Ой, бабушка! Ой, милая моя бабушка! – вопил ты диким голосом, взывая теперь к последнему прибежищу – к бабушке.

И бабушка едва сидела на месте.

Ее сердце рвалось в детскую, но, в угоду мне и маме, она крепилась, смотрела из-под дрожащих бровей на темневшую улицу и быстро стучала ложечкой по столу.

Понял тогда и ты, что мы решили не сдаваться, что никто не утолит твоей боли и обиды поцелуями, мольбами о прощении. Да и слёз уже не хватало. Ты до изнеможения упился своими рыданиями, своим детским горем, с которым не сравнится, может быть, ни одно человеческое горе, но прекратить вопли сразу было невозможно, хотя бы из-за одного самолюбия.

Ясно было слышно: кричать тебе уже не хочется, голос охрип и срывается, слёз нет. Но ты все кричал и кричал!

Было неважно и мне. Хотелось встать с места, распахнуть дверь в детскую и сразу, каким-нибудь одним горячим словом, пресечь твои страдания. Но разве это согласуется с правилами разумного воспитания и с достоинством справедливого, хотя и строгого дяди?

Наконец ты затих...

V

– И мы тотчас помирились? – спрашиваешь ты.

Нет, я таки выдержал характер. Я, по крайней мере, через полчаса после того, как ты затих, заглянул в детскую. И то как? Подошел к дверям, сделал серьезное лицо и растворил их с таким видом, точно у меня было какое-то дело. А ты в это время уже возвращался малопомалу к обыденной жизни.

Ты сидел на полу, изредка подергивался от глубоких прерывистых вздохов, обычных у детей после долгого плача, и с потемневшим от размазанных слёз личиком забавлялся своими незатейливыми игрушками – пустыми коробочками от спичек, – расставляя их по полу, между раздвинутых ног, в каком-то, только тебе одному известном порядке.

Как сжалось мое сердце при виде этих коробочек!

Но, делая вид, что отношения наши прерваны, что я оскорблен тобою, я едва взглянул на тебя. Я внимательно и строго осмотрел подоконники, столы... Где это мой портсигар?.. И уже хотел выйти, как вдруг ты поднял голову и, глядя на меня злыми, полными презрения глазами, хрипло сказал:

– Теперь я никогда больше не буду любить тебя.

Потом подумал, хотел сказать еще что-то очень обидное, но запнулся, не нашелся и сказал первое, что пришло в голову:

– И никогда ничего не куплю тебе.

– Пожалуйста! – небрежно ответил я, пожимая плечом. – Пожалуйста! Я от такого дурного мальчика и не взял бы ничего.

– Даже и японскую копеечку, какую тогда подарил, назад возьму! – крикнул ты тонким, дрогнувшим голосом, делая последнюю попытку уязвить меня.

– А вот это уж и совсем нехорошо! – ответил я. – Дарить и потом отнимать! Впрочем, это твое дело.

Потом заходили к тебе мама и бабушка. И так же, как я, делали сначала вид, что вошли случайно... по делу... Затем качали головами и, стараясь не придавать своим словам значения, заводили речь о том, как это нехорошо, когда дети растут непослушными, дерзкими и добиваются того, что их никто не любит. А кончали тем, что советовали тебе пойти ко мне и попросить у меня прощения.

– А то дядя рассердится и уедет в Москву, – говорила бабушка грустным тоном. – И никогда больше не приедет к нам.

– И пускай не приедет! – отвечал ты едва слышно, все ниже опуская голову.

– Ну, я умру, – говорила бабушка еще печальнее, совсем не думая о том, к какому жестокому средству прибегает она, чтобы заставить тебя переломить свою гордость.

– И умирай, – отвечал ты сумрачным шепотом.

– Хорош! – сказал я, снова чувствуя приступ раздражения. – Хорош! – повторил я, дымя папиросой и поглядывая в окно на темную пустую улицу.

И, переждав, пока пожилая худая горничная, всегда молчаливая и печальная от сознания, что она – вдова машиниста, зажгла в столовой лампу, прибавил:

– Вот так мальчик!

– Да не обращай на него внимания, – сказала мама, заглядывая под матовый колпак лампы, не коптит ли. – Охота тебе разговаривать с такой злючкой!

И мы сделали вид, что совсем забыли о тебе.

VI

В детской огня еще не зажигали, и стекла ее окон казались теперь синими-синими. Зимний вечер стоял за ними, и в детской было сумрачно и грустно. Ты сидел на полу и передвигал коробочки. И эти коробочки мучили меня. Я встал и решил побродить по городу.

Но тут послышался шепот бабушки.

– Бесстыдник, бесстыдник! – зашептала она укоризненно. – Дядя тебя любит, возит тебе игрушки, гостинцы...

Я громко прервал:

– Бабушка, этого говорить не следует. Это лишнее. Тут дело не в гостинцах.

Но бабушка знала, что делает.

– Как же не в гостинцах? – ответила она. – Не дорог гостинец, а дорога память.

И, помолчав, ударила по самой чувствительной струне твоего сердца:

– А кто же купит ему теперь пенал, бумаги, книжку с картинками? Да что пенал! Пенал – туда-сюда. А цифры? Ведь уж этого не купишь ни за какие деньги. Впрочем, – прибавила она, – делай как знаешь. Сиди тут один в темноте.

И вышла из детской.

Конечно, самолюбие твое было сломлено! Ты был побежден.

Чем неосуществимее мечта, тем пленительнее, чем пленительнее, тем неосуществимее. Я уже знаю это.

С самых ранних дней моих я у нее во власти. Но я знаю и то, что, чем дороже мне моя мечта, тем менее надежд на достижение ее. И я уже давно в борьбе с нею. Я лукавлю: делаю вид, что я равнодушен. Но что мог сделать ты?

Счастье, счастье!

Ты открыл утром глаза, переполненный жаждой счастья. И с детской доверчивостью, с открытым сердцем кинулся к жизни: скорее, скорее!

Но жизнь ответила:

– Потерпи.

– Ну пожалуйста! – воскликнул ты страстно.

– Замолчи, иначе ничего не получишь!

– Ну погоди же! – крикнул ты злобно.

И на время смолк.

Но сердце твое буйствовало. Ты бесновался, с грохотом валял стулья, бил ногами в пол, звонко вскрикивал от переполнявшей твое сердце радостной жажды... Тогда жизнь со всего

размаха ударила тебя в сердце тупым ножом обиды. И ты закатился бешеным криком боли, призывом на помощь.

Но и тут не дрогнул ни один мускул на лице жизни... Смирись, смирись!

И ты смирился.

VII

Помнишь ли, как робко вышел ты из детской и что ты сказал мне?

– Дядечка! – сказал ты мне, обессиленный борьбой за счастье и все еще алкая его. – Дядечка, прости меня. И дай мне хоть каплю того счастья, жажда которого так сладко мучит меня.

Но жизнь обидчива.

Она сделала притворно-печальное лицо.

– Цифры! Я понимаю, что это счастье... Но ты не любишь дядю, огорчаешь его...

– Да нет, неправда, – люблю, очень люблю! – горячо воскликнул ты.

И жизнь наконец смиростивилась.

– Ну уж Бог с тобою! Неси сюда, к столу, стул, давай карандаш, бумагу...

И какой радостью засияли твои глаза!

Как хлопотал ты! Как боялся рассердить меня, каким покорным, деликатным, осторожным в каждом своем движении старался ты быть! И как жадно ловил ты каждое мое слово!

Глубоко дыша от волнения, поминутно слюнявя огрызок карандаша, с каким старанием налегал ты на стол грудью и крутил головой, выводя таинственные, полные какого-то божественного значения черточки!

Теперь уже и я наслаждался твоею радостью, с нежностью обоняя запах твоих волос: детские волосы хорошо пахнут – совсем как маленькие птички.

– Один... Два... Пять... – говорил ты, с трудом водя по бумаге.

– Да нет, не так. Один, два, три, четыре.

– Сейчас, сейчас, – говорил ты поспешно. – Я сначала: один, два...

И смущенно глядел на меня.

– Ну, три...

– Да, да, три! – подхватывал ты радостно. – Я знаю. – И выводил «три», как большую прописную букву «Е».

1906

Суходол¹¹



I

В Наталье всегда поражала нас ее привязанность к Суходолу.

Молочная сестра нашего отца, выросшая с ним в одном доме, целых восемь лет прожила она у нас в Лунева, прожила как родная, а не как бывшая раба, простая дворовая. И целых восемь лет отдыхала, по ее же собственным словам, от Суходола, от того, что заставил он ее выстрадать. Но недаром говорится, что, как волка ни корми, он все в лес смотрит: выйдя, вырастив нас, снова воротилась она в Суходол.

Помню отрывки наших детских разговоров с нею:

– Ты ведь сирота, Наталья?

– Сирота-с. Вся в господ своих. Бабушка-то ваша Анна Григорьевна куда как рано ручки белые сложила! Не хуже моего батюшки с матушкой.

– А они отчего рано померли?

¹¹ Суходол (с. 87). – Семейная хроника обитателей Суходола создавалась по преданиям, сохранившимся в семье Буниных. В ней отражены черты различных лиц из их рода. Жена Бунина, Вера Николаевна Бунина, писала: «Совершенно верно, что Суходол взят с Каменки, родового имени Буниных... Я была в Каменке... От имени ничего не осталось... Вы правы, что и „Суходол“ и „Жизнь Арсеньева“ не хроника, не автобиография и не биография, а художественные произведения, основанные на биографическом материале». Некоторые черты деда И. А. Бунина, Николая Дмитриевича Бунина, приданы в «Суходоле» Петру Кириллычу. Смерть Ивана Чубарова, брата матери И. А. Бунина, перенесена в «Суходол» – смерть Петра Петровича: «лошадь, шедшая сзади розвальней, убила его копытом». Бунин, подростком, вместе с сестрой Машей бывал в Каменке; они там увидели, пишет В. Н. Бунина, «свою родную тетку, Варвару Николаевну Бунину, жившую рядом с барским домом во флигеле, вернее, в просторной избе. Тетя Варя была не совсем нормальна: заболела после того, как отказала товарищу брата Николая, жениху-офицеру, которому все играла полонез Огинского. А отказав, после его отъезда, заболела нервно. Она прототип тети Тони в „Суходоле“». Бунин говорил о «Суходоле»: «Некоторые критики упрекали меня, будто я не знаю деревни, что я не касаюсь взаимоотношений мужика и барина и т. д. В деревне прошла моя жизнь, следовательно, я имел возможность видеть ее своими глазами на месте, а не из окна экспресса... Дело в том, что я не стремлюсь описывать деревню в ее пестрой и текущей повседневности. Меня занимает главным образом душа русского человека в глубоком смысле, изображение черт психики славянина. В моем новом произведении „Суходол“ рисуется картина жизни следующего (после мужиков и мещан „Деревни“) представителя русского народа – дворянства. Книга о русском дворянстве, как это ни странно, далеко не дописана, работа исследования этой среды не вполне закончена. Мы знаем дворян Тургенева, Толстого. По ним нельзя судить о русском дворянстве в массе, так как и Тургенев и Толстой изображают верхний слой, редкие оазисы культуры. Мне думается, что жизнь большинства дворян России была гораздо проще, и душа их была более типична для русского, чем ее описывают Толстой и Тургенев... Мне кажется, что быт и душа русских дворян те же, что и у мужика; все различие обуславливается лишь материальным превосходством дворянского сословия. Нигде в иной стране жизнь дворян и мужиков так тесно, близко не связана, как у нас. Душа у тех и других, я считаю, одинаково русская. Выявить вот эти черты дворянской и мужицкой жизни, как доминирующие в картине русского помещичьего сословия, я и ставлю своей задачей в своих произведениях. На фоне романа я стремлюсь дать художественное изображение развития дворянства в связи с мужиком и при малом различии в их психике». В критике отмечалось, что «Бунин как художник проявил в „Суходоле“ силу и чистоту таланта, превосходящие все прежде им написанное. Повесть чисто бытовая, „Суходол“ местами обращается в яркий и громадный символ: из-за помещичьей усадьбы Хрущевых вдруг выступает вся Россия, проглядывает лицо всего русского народа». И природа Бунина «при всей реалистической точности его письма все же совершенно иная, чем у двух величайших наших реалистов – у Толстого и Тургенева. Природа Бунина зыблее, музыкальнее, психичнее и, может быть, даже мистичнее природы Толстого и Тургенева».

– Смерть пришла, вот и померли-с.

– Нет, отчего рано?

– Так Бог дал. Батюшку господа в солдаты отдали за провинности, матушка веку не дожила из-за индюшат господских. Я-то, конечно, не помню-с, где мне, а на дворе сказывали: была она птишницей, индюшат под ее начальством было несть числа, захватил их град на выгоне и заporол всех до единого... Кинулась бечь она, добежала, глянула – да и дух вон от ужаси!

– А отчего ты замуж не пошла?

– Да жених не вырос еще.

– Нет, без шуток?

– Да говорят, будто госпожа, ваша тетенька, заказывала. За то-то и меня, грешную, барышней ославили.

– Ну-у, какая же ты барышня!

– В аккурат-с барышня! – отвечала Наталья с тонкой усмешечкой, морщившей ее губы, и обтирала их темной старушечьей рукой. – Я ведь молочная Аркадь Петровичу, тетенька вторая ваша...

Подрастая, все внимательнее прислушивались мы к тому, что говорилось в нашем доме о Суходоле: все понятнее становилось непонятное прежде, все резче выступали странные особенности суходольской жизни. Мы ли не чувствовали, что Наталья, полвека своего прожившая с нашим отцом почти одинаковой жизнью, – истинно родная нам, столбовым господам Хрущевым! И вот оказывается, что господа эти загнали отца ее в солдаты, а мать в такой трепет, что у нее сердце разорвалось при виде погибших индюшат!

– Да и правда, – говорила Наталья, – когда было не пасть замертво от такой оказии? Господа за Можай ее загнали бы!

А потом узнали мы о Суходоле нечто еще более странное: узнали, что проще, добрей суходольских господ «во всей вселенной не было», но узнали и то, что не было и «горячее» их; узнали, что темен и сумрачен был старый суходольский дом, что сумасшедший дед наш Петр Кириллыч был убит в этом доме незаконным сыном своим, Гervasькой, другом отца нашего и двоюродным братом Натальи; узнали, что давно сошла с ума – от несчастной любви – и тетя Тоня, жившая в одной из старых дворовых изб возле оскудевшей суходольской усадьбы и восторженно игравшая на гудящем и звенящем от старости фортепиано экосезы; узнали, что сходила с ума и Наталья, что еще девчонкой на всю жизнь полюбила она покойного дядю Петра Петровича, а он сослал ее в ссылку, на хутор Собышки... Наши страстные мечты о Суходоле были понятны. Для нас Суходол был только поэтическим памятником былого. А для Натальи? Ведь это она, как бы отвечая на какую-то свою думу, с великой горечью сказала однажды:

– Что ж! В Суходоле с татарками за стол садились! Вспомнить даже страшно.

– То есть с арапниками? – спросили мы.

– Да это все едино-с, – сказала она.

– А зачем?

– А на случай ссоры-с.

– В Суходоле все ссорились?

– Борони Бог! Дня не проходило без войны! Горячие все были – чистый порох.

Мы-то млели при ее словах и восторженно переглядывались: долго представлялся нам потом огромный сад, огромная усадьба, дом с дубовыми бревенчатыми стенами под тяжелой и черной от времени соломенной крышей – и обед в зале этого дома: все сидят за столом, все едят, бросая кости на пол, охотничьим собакам, косятся друг на друга – и у каждого арапник на коленях: мы мечтали о том золотом времени, когда мы вырастем и тоже будем обедать с арапниками на коленях. Но ведь хорошо понимали мы, что не Наталье доставляли радость эти арапники. И все же ушла она из Лунева в Суходол, к источнику своих темных воспоминаний.

Ни своего угла, ни близких родных не было у ней там; и служила она теперь в Суходоле уже не прежней госпоже своей, не тете Тоне, а вдове покойного Петра Петровича, Клавдии Марковне. Да вот без усадьбы-то этой и не могла жить Наталья.

– Что делать-с: привычка, – скромно говорила она. – Уж куда иголка, туда, видно, и нитка. Где родился, там и годился...

И не одна она страдала привязанностью к Суходолу. Боже, какими страстными любителями воспоминаний, какими горячими приверженцами Суходола были и все прочие суходольцы!

В нищете, в избе обитала тетя Тоня. И счастья, и разума, и облика человеческого лишил ее Суходол. Но она даже мысли не допускала никогда, несмотря на все уговоры нашего отца, покинуть родное гнездо, поселиться в Луневе.

– Да лучше камень в горе бить!

Отец был беззаботный человек; для него, казалось, не существовало никаких привязанностей. Но глубокая грусть слышалась и в его рассказах о Суходоле. Уже давным-давно выселился он из Суходола в Луневу, полевое поместье бабки нашей Ольги Кирилловны. Но жаловался чуть не до самой кончины своей:

– Один, один Хрущев остался теперь в свете. Да и тот не в Суходоле!

Правда, нередко случалось и то, что, вслед за такими словами, задумывался он, глядя в окно, в поле, и вдруг насмешливо улыбался, снимая со стены гитару.

– А и Суходол хорош, пропади он пропадом! – прибавлял он с тою же искренностью, с какой говорил и за минуту перед тем.

Но душа-то и в нем была суходольская, – душа, над которой так безмерно велика власть воспоминаний, власть степи, косного ее быта, той древней семейственности, что воедино сливала и деревню, и дворню, и дом в Суходоле. Правда, столбовые мы, Хрущевы, в шестую книгу¹² вписанные, и много было среди наших легендарных предков знатных людей вековой литовской крови да татарских князьков. Но ведь кровь Хрущевых мешалась с кровью дворни и деревни спокон веку. Кто дал жизнь Петру Кириллычу? Разно говорят о том предания. Кто был родителем Герваськи, убийцы его? С ранних лет мы слышали, что Петр Кириллыч. Откуда истекало столь резкое несходство в характерах отца и дяди? Об этом тоже разно говорят. Молочной же сестрой отца была Наталья, с Герваськой он крестами менялся... Давно, давно пора Хрущевым посчитаться родней с своей дворней и деревней!

В тяготенье к Суходолу, в обольщении его стариною долго жили и мы с сестрой. Дворня, деревня и дом в Суходоле составляли одну семью. Правили этой семьей еще наши пращуры. А ведь и в потомстве это долго чувствуется. Жизнь семьи, рода, клана глубока, узловата, таинственна, зачастую страшна. Но темной глубиной своей да вот еще преданиями, прошлым и сильна-то она. Письменными и прочими памятниками Суходол не богаче любого улуса в башкирской степи. Их на Руси заменяет предание. А предание да песня – отравы для славянской души! Бывшие наши дворовые, страстные лентяи, мечтатели, – где они могли отвести душу, как не в нашем доме? Единственным представителем суходольских господ оставался наш отец. И первый язык, на котором мы заговорили, был суходольский. Первые повествования, первые песни, тронувшие нас, – тоже суходольские, Натальины, отцовы. Да и мог ли кто-нибудь петь так, как отец, ученик дворовых, – с такой беззаботной печалью, с таким ласковым укором, с такой слабовольной задушевностью про «верную-манерную сударушку свою»? Мог ли кто-нибудь рассказывать так, как Наталья? И кто был роднее нам суходольских мужиков?

Распри, ссоры – вот чем спокон веку славились Хрущевы, как и всякая долго и тесно живущая в единении семья. А во времена нашего детства случилась такая ссора между Суходолом и Луневом, что чуть не десять лет не переступала нога отца родного порога. Так путем

¹² Шестая книга – родословная книга, в которую были внесены Бунины, принадлежавшие к дворянам древнего рода.

и не видали мы в детстве Суходола: были там только раз, да и то проездом в Задонск. Но ведь сны порой сильнее всякой яви. И смутно, но неизгладимо запомнили мы летний долгий день, какие-то волнистые поля и заглохшую большую дорогу, очаровавшую нас своим простором и кое-где уцелевшими дуплистыми ветлами; запомнили улей на одной из таких ветел, далеко отошедшей с дороги в хлеба, – улей, оставленный на волю Божью, в полях, при заглохшей дороге; запомнили широкий поворот под изволок, громадный голый выгон, на который глядели бедные кúрные избы, и желтизну каменистых оврагов за избами, белизну голышей и щебня по их днищам... Первое событие, ужаснувшее нас, тоже было суходольское: убийство дедушки Герваськой. И, слушая повествования об этом убийстве, без конца грезили мы этими желтыми, куда-то уходящими оврагами: все казалось, что по ним-то и бежал Герваська, сделав свое страшное дело и «канув как ключ на дно моря».

Мужики суходольские навещали Лунево не с теми целями, что дворовые, а насчет земельки больше; но и они как в родной входили в наш дом. Они кланялись отцу в пояс, целовали ему руку, затем, тряхнув волосами, троекратно целовались и с ним, и с Натальей, и с нами в губы. Они привозили в подарок мед, яйца, полотенца. И мы, выросшие в поле, чуткие к запахам, жадные до них не менее, чем до песен, преданий, навсегда запомнили тот особый, приятный, конопляный какой-то запах, что ощущали, целуясь с суходольцами; запомнили и то, что старой степной деревней пахли их подарки: мед – цветущей гречей и дубовыми гнилыми ульями, полотенца – пуньками, курными избами времен дедушки... Мужики суходольские ничего не рассказывали. Да что им и рассказывать-то было! У них даже и преданий не существовало. Их могилы безымянны. А жизни так похожи друг на друга, так скудны и бесследны! Ибо плодами трудов и забот их был лишь хлеб, самый настоящий хлеб, что съедается. Копали они пруды в каменистом ложе давно иссякнувшей речки Каменки. Но пруды ведь ненадежны – высыхают. Строили они жилища. Но жилища их недолговечны: при малейшей искре дотла сгорают они... Так что же тянуло нас всех даже к голому выгону, к избам и оврагам, к разоренной усадьбе Суходола?

II

В усадьбу, породившую душу Натальи, владевшую всей ее жизнью, в усадьбу, о которой так много слышали мы, довелось нам попасть уже в позднем отрочестве.

Помню так, точно вчера это было. Разразился ливень с оглушительными громовыми ударами и ослепительно-быстрыми, огненными змеями молний, когда мы под вечер подъезжали к Суходолу. Черно-лиловая туча тяжело свалилась к северо-западу, величаво заступила полнеба напротив. Плоско, четко и мертвенно-бледно зеленела равнина хлебов под ее огромным фоном, ярка и необыкновенно свежа была мелкая мокрая трава на большой дороге. Мокрые, точно сразу похудевшие лошади шлепали, блестя подковами, по синей грязи, тарантас влажно шуршал... И вдруг, у самого поворота в Суходол, увидали мы в высоких мокрых ржах высокую и престранную фигуру в халате и шлыке¹³, фигуру не то старика, не то старухи, быющую хворостиной пегую комолую корову¹⁴. При нашем приближении хворостина заработала сильнее, и корова неуклюже, крутя хвостом, выбежала на дорогу. А старуха, что-то крича, направилась к тарантасу и, подойдя, потянулась к нам бледным лицом. Со страхом глядя в черные безумные глаза, чувствуя прикосновение острого холодного носа и крепкий запах избы, поцеловались мы с подошедшей. Не сама ли это Баба-яга? Но высокий шлык из какой-то грязной тряпки торчал на голове Бабы-яги, на голое тело ее был надет рваный и по пояс мокрый халат, не

¹³ Шлык – головной убор с коническим верхом.

¹⁴ Комолая корова – безрогая.

закрывавший тощих грудей. И кричала она так, точно мы были глухие, точно с целью затеять яростную брань. И по крику мы поняли: это тетя Тоня.

Закричала, но весело, институтски-восторженно и Клавдия Марковна, толстая, маленькая, с седенькой бородкой, с необыкновенно живыми глазками, сидевшая у открытого окна в доме с двумя большими крыльцами, вязавшая нитяный носок и, подняв очки на лоб, глядевшая на выгон, слившийся с двором. Низко, с тихой улыбкой поклонилась стоявшая на правом крыльце Наталья – дробненькая, загорелая, в лаптях, в шерстяной красной юбке и в серой рубаше с широким вырезом вокруг темной, сморщенной шеи. Взглянув на эту шею, на худые ключицы, на устало-грустные глаза, помню, подумал я: это она росла с нашим отцом – давным-давно, но вот именно здесь, где от дедовского дубового дома, много раз горевшего, остался вот этот, невзрачный, от сада – кустарники да несколько старых берез и тополей, от служб и людских – изба, амбар, глиняный сарай да ледник, заросший полынью и подсвечельником... Запахло самоваром, посыпались расспросы; стали появляться из столетней горки хрустальные вазочки для варенья, золотые ложечки, истончившиеся до кленового листа, сахарные сушки, сбереженные на случай гостей. И пока разгорался разговор, усиленно дружелюбный после долгой ссоры, пошли мы бродить по темнеющим горницам, ища балкона, выхода в сад.

Все было черно от времени, просто, грубо в этих пустых, низких горницах, сохранивших то же расположение, что и при дедушке, срубленных из остатков тех самых, в которых обитал он. В углу лакейской чернел большой образ святого Меркурия Смоленского¹⁵, того, чьи железные сандалии и шлем хранятся на солее в древнем соборе Смоленска. Мы слышали: был Меркурий муж знатный, призванный к спасению от татар Смоленского края гласом иконы Божьей Матери Одигитрии Путеводительницы. Разбив татар, святой уснул и был обезглавлен врагами. Тогда, взяв свою главу в руки, пришел он к городским воротам, дабы поведать бывшее... И жутко было глядеть на суздальское изображение безглавого человека, держащего в одной руке мертвенно-синеватую голову в шлеме, а в другой икону Путеводительницы, – на этот, как говорили, заветный образ дедушки, переживший несколько страшных пожаров, расколовшийся в огне, толсто окованный серебром и хранивший на оборотной стороне своей родословную Хрущевых, писанную под титлами. Точно в лад с ним, тяжелые железные задвижки и вверху и внизу висели на тяжелых половинках дверей. Доски пола в зале были непомерно широки, темны и скользки, окна малы, с подъемными рамами. По залу, уменьшенному двойнику того самого, где Хрущевы садились за стол с татарками, мы прошли в гостиную. Тут, против дверей на балкон, стояло когда-то фортепиано, на котором играла тетя Тоня, влюбленная в офицера Войткевича, товарища Петра Петровича. А дальше зияли раскрытые двери в диванную, в угольную, – туда, где были когда-то дедушкины покои...

Вечер же был сумрачный. В тучах, за окраинами вырубленного сада, за полуголой ригой и серебристыми тополями, вспыхивали зарницы, раскрывавшие на мгновение облачные розово-золотистые горы... Ливень, верно, не захватил Трошина леса, что темнел далеко за садом, на косогорах за оврагами. Оттуда доходил сухой, теплый запах дуба, мешавшийся с запахом зелени, с влажным мягким ветром, пробегавшим по верхушкам берез, уцелевших от аллеи, по высокой крапиве, бурьянам и кустарникам вокруг балкона. И глубокая тишина вечера, степи, глухой Руси царила надо всем...

– Чай кушать пожалуйста-с, – окликнул нас негромкий голос.

Это была она, участница и свидетельница всей этой жизни, главная сказительница ее, Наталья. А за ней, внимательно глядя сумасшедшими глазами, немного согнувшись, церемонно скользя по темному гладкому полу, подвигалась госпожа ее. Шлыка она не сняла, но

¹⁵ *Меркурий Смоленский*. – Легенда о Меркурии Смоленском, древнее народное предание, содержится в русской житийной литературе; икона безглавого Меркурия хранилась у Бунина с дедовских времен.

вместо халата на ней было теперь старомодное бережовое платье, на плечи накинута блекло-золотистая шелковая шаль.

– Où êtes-vous, mes enfants?¹⁶ – жантильно улыбаясь, кричала она, и голос ее, четкий и резкий, как голос попугая, странно раздавался в пустых черных горницах...

III

Как в Наталье, в ее крестьянской простоте, во всей ее прекрасной и жалкой душе, порожденной Суходолом, было очарование и в суходольской разоренной усадьбе.

Пахло жасмином в старой гостиной с покосившимися полами. Сгнивший, серо-голубой от времени балкон, с которого, за отсутствием ступенек, надо было прыгивать, тонул в крапиве, бузине, бересклете. В жаркие дни, когда его пекло солнце, когда были открыты осевшие стеклянные двери и веселый отблеск стекла передавался в тусклое овальное зеркало, висевшее на стене против двери, все вспоминалось нам фортепиано тети Тони, когда-то стоявшее под этим зеркалом. Когда-то играла она на нем, глядя на пожелтевшие ноты с заглавиями в завитушках, а он стоял сзади, крепко подпирая талию левой рукой, крепко сжимая челюсти и хмурясь. Чудесные бабочки – и в ситцевых пестреных платицах, и в японских нарядах, и в черно-лиловых бархатных шальях – залетали в гостиную. И перед отъездом он с сердцем хлопнул однажды ладонью по одной из них, трепетно замиравшей на крышке фортепиано. Осталась только серебристая пыль. Но когда девки, по глупости, через несколько дней стерли ее, с тетей Тоней сделалась истерика. Мы выходили из гостиной на балкон, садились на теплые доски – и думали, думали. Ветер, пробегающий по саду, доносил до нас шелковистый шелест берез с атласно-белыми, испещренными чернью стволами и широко раскинутыми зелеными ветвями, ветер, шумя и шелестя, бежал с полей – и зелено-золотая иволга вскрикивала резко и радостно, колом проносясь над белыми цветами за болтливыми галками, обитавшими с многочисленным родством в развалившихся трубах и в темных чердаках, где пахнет старыми кирпичами и через слуховые окна полосами падает на бугры серо-фиолетовой золы золотой свет; ветер замирал, сонно ползали пчелы по цветам у балкона, совершая свою неспешную работу, – и в тишине слышался только ровный, струящийся, как непрерывный мелкий дождик, лепет серебристой листвы тополей... Мы бродили по саду, забирались в глушь окраин. Там, на этих окраинах, слившихся с хлебами, в прадедовской бане с провалившимся потолком, в той самой бане, где Наталья хранила украденное у Петра Петровича зеркальце, жили белые трусы. Как они мягко выпрыгивали на порог, как странно, шевеля усами и раздвоенными губами, косили свои далеко расставленные, выпученные глаза на высокие татарки, кусты белены и заросли крапивы, глушившей терн и вишеник! А в полураскрытой риге жил филин. Он сидел на перемете, выбрав место посумрачнее, торчком подняв уши, выкатив желтые слепые зрачки – и вид у него был дикий, чертовский. Опускалось солнце далеко за садом, в море хлебов, наступал вечер, мирный и ясный, куковала кукушка в Трошином лесу, жалобно звенели где-то над лугами жалейки старика пастуха Степы. Филин сидел и ждал ночи. Ночью все спало – и поля, и деревня, и усадьба. А филин только и делал, что ухал и плакал. Он неслышно носился вокруг риги, по саду, прилетал к избе тети Тони, легко опускался на крышу – и болезненно вскрикивал... Тетя просыпалась на лавке у печки.

– Иисусе сладчайший, помилуй мя, – шептала она, вздыхая.

Мухи сонно и недовольно гудели по потолку жаркой, темной избы. Каждую ночь что-нибудь будило их. То корова чесалась боком о стену избы; то крыса пробегала по отрывисто звенящим клавишам фортепиано и, сорвавшись, с треском падала в черепки, заботливо складываемые тетей в угол; то старый черный кот с зелеными глазами поздно возвращался откуда-

¹⁶ Где вы, дети мои? (*фр.*)

то домой и лениво просился в избу; или же прилетал вот этот филин, криками своими пророчивший беду. И тетя, пересиливая дремоту, отмахиваясь от мух, в темноте лезших в глаза, вставала, шарила по лавкам, хлопала дверью – и, выйдя на порог, наугад запускала вверх, в звездное небо, скалку. Филин, с шорохом, задевая крыльями солому, срывался с крыши – и низко падал куда-то в темноту. Он почти касался земли, плавно доносился до риги и, взмыв, садился на ее хребет. И в усадьбу опять доносился его плач. Он сидел, как будто что-то вспоминая, – и вдруг испускал вопль изумления; смолкал – и внезапно принимался истерически ухать, хохотать и взвизгивать; опять смолкал – и раздражался стонами, всхлипываниями, рыданиями... А ночи, темные, теплые, с лиловыми тучками, были спокойны, спокойны. Сонно бежал и струился лепет сонных тополей. Зарница осторожно мелькала над темным Трошиным лесом – и тепло, сухо пахло дубом. Возле леса, над равнинами овсов, на прогалине неба среди туч, горел серебряным треугольником, могильным голубцом Скорпион...

Поздно возвращались мы в усадьбу. Надышавшись росой, свежестью степи, полевых цветов и трав, осторожно поднимались мы на крыльцо, входили в темную прихожую. И часто заставляли Наталью на молитве перед образом Меркурия. Босая, маленькая, поджав руки, стояла она перед ним, шептала что-то, крестилась, низко кланялась ему, не видному в темноте, – и все это так просто, точно беседовала она с кем-то близким, тоже простым, добрым, милостивым.

– Наталья? – тихо окликали мы.

– Я-с? – тихо и просто отзывалась она, прерывая молитву.

– Что же ты не спишь до сих пор?

– Да авось еще в могиле-с наспимся...

Мы садились на коник, раскрывали окно; она стояла, поджав руки. Таинственно мелькали зарницы, озаряя темные горницы; перепел бил где-то далеко в росистой степи. Предостерегающе-тревожно крякала проснувшаяся на пруде утка...

– Гуляли-с?

– Гуляли.

– Что ж, дело молодое. Мы, бывалыча, так-то все ночи напролет прогуливали... Одна заря выгонит, другая загонит...

– Хорошо жилось прежде?

– Хорошо-с...

И наступало долгое молчание.

– Чего это, нянечка, филин кричит? – говорила сестра.

– Не судом кричит-с, пропасти на него нету. Хоть бы из ружья пострелять. А то прямо жуть, все думается: либо к беде какой? И все барышню пугает. А она ведь до смерти пуглива!

– А как захворала она?

– Да известно-с: все слезы, слезы, тоска... Потом молиться зачали... Да все лютее с нами, с девками, да все сердитей с братцами...

И, вспоминая арапники, мы спрашивали:

– Не дружно, значит, жили?

– Куда как дружно! А уж особенно после того, как заболели-то оне, как дедушка померли, как вошли в силу молодые господа и женился покойник Петр Петрович. Горячие все были – чистый порох!

– А пороли дворовых часто?

– Этого у нас и в заведение не было-с. Я как провинилась-то! А и было-то всего-навсего, что приказали Петр Петрович голову мне овечьими ножницами оболванить, затрапезную рубаху надеть да на хутор отправить...

– А чем же ты провинилась?

Но ответ не всегда следовал прямой и скорый. Рассказывала Наталья порою с удивительной прямоотой и тщательностью; но порою запинаясь, что-то думала; потом легонько вздыхала, и по голосу, не видя лица в сумраке, мы понимали, что она грустно усмехается:

– Да тем и провинилась... Я ведь уже сказывала... Молода-глупа была-с. «Пел на грех, на беду соловей во саду...» А, известно, дело мое было девичье...

Сестра ласково просила ее:

– Ты уж скажи, нянечка, стихи эти до конца.

И Наталья смущалась.

– Это не стихи-с, а песня... Да я ее и не упомяну-с теперь.

– Неправда, неправда!

– Ну, извольте-с...

И скороговоркой кончала:

– «Как на грех, на беду...» То бишь: «Пел на грех, на беду соловей во саду – песню томную... Глупой спать не давал – в ночьку темную...»

Пересиливая себя, сестра спрашивала:

– А ты очень была влюблена в дядю?

И Наталья тупо и кратко шептала:

– Очень-с.

– Ты всегда поминаешь его на молитве?

– Всегда-с.

– Ты, говорят, в обморок упала, когда тебя везли в Сошки?

– В обморок-с. Мы, дворовые, страшные нежные были... жидки на расправу... не сравнять же с серым однодворцем! Как повез меня Евсей Бодуля, отупела я от горя и страху... В городе чуть не задвохнулась с непривычки. А как выехали в степь, таково мне нежно да жалостно стало! Метнулся офицер навстречу, похожий на них, – крикнула я, да и замертво! А пригледели в себя, лежу этак в телеге и думаю: хорошо мне теперь, ровно в Царстве Небесном!

– Строг он был?

– Не приведи Господи!

– Ну а все-таки своенравнее всех тетя была?

– Оне-с, оне-с. Докладываю же вам: их даже к угоднику возили. Натерпелись мы страсти с ними! Им бы жить да поживать теперь как надобно, а оне погордились, да и тронулись... Как любил их Войткевич-то! Ну да вот поди ж ты!

– Ну а дедушка?

– Те что ж? Те слабы умом были. А, конечно, и с ними случалось. Все в ту пору были пылкие... Да зато прежние-то господа наглим братом не брезговали. Бывалыча, папаша валі накажут Герваську в обед, – энтого и следовало! – а вечером, глядь, уж на дворе жируют, на балалайках с ним жундят...

– А скажи, – он хорош был, Войткевич-то?

Наталья задумалась.

– Нет-с, не хочу соврать: вроде калмыка был. А сурьезный, настойчивый. Все стихи ей читал, все напугивал: мол, помру и приду за тобой...

– Ведь и дед от любви с ума сошел?

– Те по бабушке. Это дело иное, сударыня. Да и дом у нас был сумрачен, – невеселый, Бог с ним. Вот извольте послушать мои глупые слова...

И неторопливым шепотом начинала Наталья долгое, долгое повествование...

IV

Если верить преданиям, прадед наш, человек богатый, только под старость переселился из-под Курска в Суходол: не любил наших мест, их глуши, лесов. Да, ведь это вошло в пословицу: «В старину везде леса были...» Люди, пробиравшиеся лет двести тому назад по нашим дорогам, пробирались сквозь густые леса. В лесу терялись и речка Каменка, и те верхи, где протекала она, и деревня, и усадьба, и холмистые поля вокруг. Однако уже не то было при дедушке. При дедушке картина была иная: полустепной простор, голые косогоры, на полях – рожь, овес, греча, на большой дороге – редкие дуплистые ветлы, а по суходольскому верху – только белый голыш. От лесов остался один Трошин лесок. Только сад был, конечно, чудесный: широкая аллея в семьдесят раскидистых берез, вишенники, тонувшие в крапиве, дремучие заросли малины, акации, сирени и чуть не целая роща серебристых тополей на окраинах, сливавшихся с хлебами. Дом был под соломенной крышей, толстой, темной и плотной.

И глядел он на двор, по сторонам которого шли длиннейшие службы и людские в несколько связей, а за двором расстился бесконечный зеленый выгон и широко раскидывалась барская деревня, большая, бедная и – беззаботная.

– Вся в господ-с! – говорила Наталья. – И господа беззаботны были – не хозяйственны, не жадны. Семен Кириллыч, братец дедушки, поделились с нами: себе взяли что побольше да полутче, престольную вотчину, нам только Сошки, Суходол да четыреста душ прикинули. А из четырех-то сот чуть не половина разбежалась...

Дедушка Петр Кириллыч умер лет сорока пяти. Отец часто говорил, что помешался он после того, как на него, заснувшего на ковре в саду, под яблоней, внезапно сорвавшийся ураган обрушил целый ливень яблок. А на дворе, по словам Натальи, объясняли слабоумие деда иначе: тем, что тронулся Петр Кириллыч от любовной тоски после смерти красавицы бабушки, что великая гроза прошла над Суходолом перед вечером того дня. И доживал Петр Кириллыч, – сутулый брюнет, с черными, внимательно-ласковыми глазами, немного похожий на тетю Тоню, – в тихом помешательстве. Денег, по словам Натальи, прежде не знали куда девать, и вот он, в сафьяновых сапожках и пестром архалуке, заботливо и неслышно бродил по дому и, оглядываясь, совал в трещины дубовых бревен золотые.

– Это я для Тонечки в приданое, – бормотал он, когда захватывали его. – Надежнее, друзья мои, надежнее... Ну а за всем тем – воля ваша: не хотите – я не буду...

И опять совал. А не то переставлял тяжелую мебель в зале, в гостиной, все ждал чьего-то приезда, хотя соседи почти никогда не бывали в Суходоле; или жаловался на голод и сам мастерил себе тюрю – неумело толоч и растирал в деревянной чашке зеленый лук, крошил туда хлеб, лил густой пенящийся суровец и сыпал столько крупной серой соли, что тюря оказывалась горькой и есть ее было не под силу. Когда же, после обеда, жизнь в усадьбе замирала, все разбредалось по излюбленным углам и надолго засыпало, не знал, куда деваться, одинокий, даже и по ночам мало спавший Петр Кириллыч. И, не выдержав одиночества, начинал заглядывать в спальни, прихожие, девичьи и осторожно окликать спящих:

– Ты спишь, Аркаша? Ты спишь, Тонюша?

И, получив сердитый окрик: «Да отвяжитесь вы, ради Бога, папенька!» – торопливо успокаивал:

– Ну, спи, спи, душа моя. Я тебя будить не буду...

И уходил дальше, – минуя только лакейскую, ибо лакеи были народ очень грубый, – а через десять минут снова появлялся на пороге и снова еще осторожнее окликал, выдумывая, что по деревне кто-то проехал с ямщицкими колокольчиками, – «уж не Петенька ли из полка в побывку», – или что заходит страшная градовая туча.

– Они, голубчики, уж очень грозы боялись, – рассказывала Наталья. – Я-то еще девчонкой простоволосой была, ну а все-таки помню-с. Дом у нас какой-то черный был... невеселый, Господь с ним. А день летом – год. Дворни девать было некуда... одних лакеев пять человек... Да, известно, започивают после обеда молодые господа, а за ними и мы, холопы верные, слуги примерные. И тут уж Петр Кириллыч не приступайся к нам, – особенно к Герваське. «Лакеи! Лакеи! Вы спите?» А Герваська подымет голову с ларя, да и спрашивает: «А хочешь, я тебе сейчас крапивы в мотню набью?» – «Да ты кому ж это говоришь-то, бездельник ты этакий?» – «Домовому, сударь, спросонья...» Ну вот, Петр Кириллыч и пойдут опять по залу, по гостиной и все в окна, в сад заглядывают: не видно ли тучи? А гробы, и правда, куда как часто в старину собирались. Да и грозы-то великие. Как, бывалыча, дело после обеда, так и почнет орать иволга, и пойдут из-за саду тучки... потемнеет в доме, зашуршит бурьян да глухая крапива, попрятчутся индюшки с индюшатами под балкон... прямо жуть, скука-с! А они, батюшка, вздыхают, крестятся, лезут свечку восковую у образов зажигать, полотенце заветное с покойника прадедушки вешать, – боялась я того полотенца до смерти! – али ножницы за окошко выкидывают. Это уж первое дело-с, ножницы-то: очень хорошо против грозы...

...Было веселее в суходольском доме, когда жили в нем французы, – сперва какой-то Луи Иванович, мужчина в широчайших, книзу узких панталонах, с длинными усами и мечтательными голубыми глазами, накладывавший на лысину волосы от уха к уху, а потом пожилая, вечно зябнувшая мадамзель Сизи, – когда по всем комнатам гремел голос Луи Ивановича, оравшего на Аркашу: «Идите и больше не вернитесь!» – когда слышалось в классной: «*Maître corbeau sur un arbre perché*»¹⁷, – и на фортепиано училась Тонечка. Восемь лет жили французы в Суходоле, оставались в нем, чтобы не скучно было Петру Кириллычу, и после того, как увезли детей в губернский город, покинули же его перед самым возвращением их домой на третьи каникулы. Когда прошли эти каникулы, Петр Кириллыч уже никуда не отправил ни Аркашу, ни Тонечку: достаточно было, по его мнению, отправить одного Петеньку. И дети навсегда остались и без ученья, и без призора... Наталья говаривала:

– Я-то была моложе их всех. Ну а Герваська с папашей вашим почти однолетки были и, значит, первые друзья-приятели-с. Только, правда говорится, – волк коню не свойственник. Подружились они это, поклялись в дружбе на вечные времена, поменялись даже крестами, а Герваська вскорости же и начереди: чуть было вашего папашу в пруде не утопил! Коростовый был, а уж на каторжные затеи мастер. «Что ж, – говорит раз барчуку, – ты подрастете, будете меня пороть?» – «Буду». – «Ан нет». – «Как так?» – «А так...» И надумал: стояла у нас бочка над прудами, на самом косогоре, а он и заприметь ее, да и подучи Аркадь Петровича залезть в нее и покатиться вниз. «Перва, – говорит, – ты, барчук, прожжете, а там я...» Ну а барчук-то и послушайся: залез, толкнулся, да как пошел греметь под гору, в воду, как пошел... Матушка Царица Небесная! Только пыль столбом завихрилась!.. Уж спасибо вблизи пастухи оказались...

Пока жили французы в суходольском доме, дом сохранял еще жилой вид. При бабушке еще были в нем и господа, и хозяева, и власть, и подчинение, и парадные покои, и семейные, и будни, и праздники. Видимость всего этого держалась и при французах. Но французы уехали, и дом остался совсем без хозяев. Пока дети были малы, на первом месте был как будто Петр Кириллыч. Но что он мог? Кто кем владел: он дворовыми или дворовые им? Фортепиано закрыли, скатерть с дубового стола исчезла, – обедали без скатерти и когда попало, в сенцах проходу не было от борзых собак. Заботиться о чистоте стало некому, – и темные бревенчатые стены, темные полы и потолки, темные тяжелые двери и притолки, старые образа, закрывавшие своими суздальскими ликами весь угол в зале, скоро и совсем почернели. По ночам, особенно в грозу, когда бушевал под дождем сад, поминутно озарялись в зале лики образов,

¹⁷ «Ворон, взобравшись на дерево» (фр.).

раскрывалось, распахивалось над садом дрожащее розово-золотое небо, а потом, в темноте, с треском раскалывались громовые удары, – по ночам в доме было страшно. А днем – сонно, пусто и скучно. С годами Петр Кириллыч все слабел, становился все незаметнее, хозяйкой же дома являлась дряхлая Дарья Устиновна, кормилица дедушки. Но власть ее почти равнялась его власти, а староста Демьян не вмешивался в управление домом: он знал только полевое хозяйство, с ленивой усмешкой говоря иногда: «Что ж, я своих господ не обижаю...» Отцу, юноше, не до Суходола было: его с ума сводила охота, балалайка, любовь к Герваське, который числился в лакеях, но по целым дням пропадал с ним на каких-то Мещерских болотцах или в каретном сарае за изучением балалаечных и жалеечных хитростей.

– Так уж мы и знали-с, – говорила Наталья, – в доме только почивают. А не почивают, – значит, либо на деревне, либо в каретном, либо на охоте: зимою – зайцы, осенью – лисицы, летом – перепела, утки либо дряхвы; сядут на дрожки беговые, перекинут ружьецо за плечи, кликнут Дианку, да и с Господом: нынче на Среднюю мельницу, завтра на Мещерские, послезавтра на степя. И всё с Герваськой. Тот первый коновод всему был, а прикидывался, что это барчук его таскает. Любил его, врага своего, Аркадь Петрович истинно как брата, а он, чем дальше, тем все злей измывался над ним. Бывалыча, скажут: «Ну, давай, Гервасий, на балалайках! Выучи ты меня, заради Бога, *«Закатилось солнце красное за лес...»*. А Герваська посмотрит на них, пустит в ноздри дым и этак с усмешечкой: «Поцелуйте перва ручку у меня». Побегают весь Аркадь Петрович, вскочут с места, бац его что есть силы по щеке, а он только головой мотнет и еще черней делается, насупится, как разбойник какой. «Встать, негодяй!» Встанет, вытянется, как борзой, портки плисовые висят... молчит. «Проси прощенья». – «Виноват, сударь». А барчук задвохнется – и уж не знают, что дальше сказать. «То-то „сударь“! – кричат. – Я, мол, норовлю с тобой, с негодяем, как с равным обойтись, я, мол, иной раз думаю: я для него души не пожалею... А ты что? Ты нарочно меня озлобляешь?»

– Диковинное дело! – говорила Наталья. – Над барчуком и дедушкой Герваська измывался, а надо мной – барышня. Барчук, – а по правде-то сказать, и сами дедушка, – в Герваське души не чаяли, а я – в ней... как из Сошек-то вернулась я да маленько образумилась после своей провинности...

V

С арапниками садились за стол уже после смерти дедушки, после бегства Герваськи и женитьбы Петра Петровича, после того как тетя Тоня, тронувшись, обрекла себя в невесты Иисусу сладчайшему, а Наталья возвратилась из этих самых Сошек. Тронулась же тетя Тоня и в ссылке побывала Наталья – из-за любви.

Скучные, глухие времена дедушки сменились временем молодых господ. Возвратился в Суходол Петр Петрович, неожиданно для всех вышедший в отставку. И приезд его оказался гибельным и для Натальи, и для тети Тони.

Они обе влюбились. Не заметили, как влюбились. Им казалось сперва, что «просто стало веселее жить».

Петр Петрович повернул на первых порах жизнь в Суходоле на новый лад – на праздничный и барский. Он приехал с товарищем, Войткевичем, привез с собой повара, бритого алкоголика, с пренебрежением косившегося на позеленевшие рубчатые формы для желе, на грубые ножи, вилки. Петр Петрович желал показать себя перед товарищем радушным, щедрым, богатым – и делал это неумело, по-мальчишески. Да он и был почти мальчиком, очень нежным и красивым с виду, но по натуре резким и жестоким, мальчиком как будто самоуверенным, но легко и чуть не до слёз смущающимся, а потом надолго затаивающим злобу на того, кто смутил его.

– Помнится, брат Аркадий, – сказал он за столом в первый же день своего пребывания в Суходоле, – помнится, была у нас мадера недурная?

Дедушка покраснел, хотел что-то сказать, но не насмелился и только затеребил на груди архалук.

Аркадий Петрович изумился:

– Какая мадера?

А Герваська нагло поглядел на Петра Петровича и ухмыльнулся.

– Вы изволили забыть, сударь, – сказал он Аркадию Петровичу, даже и не стараясь скрыть насмешки. – У нас, и правда, девать некуда было этой самой мадеры. Да все мы, холопы, потаскали. Вино барское, а мы ее дуром, заместо квасу.

– Это еще что такое? – крикнул Петр Петрович, заливаясь своим темным румянцем. – Молчать!

Дедушка восторженно подхватил.

– Так, так, Петенька! Фбра! – радостно, тонким голосом воскликнул он и чуть не заплакал. – Ты и представить себе не можешь, как он меня уничтожает! Я уж не однажды думал: подкрадусь и проломлю ему голову толкачом медным... Ей-богу, думал! Я ему кинжал в бок по эфес всажу!

А Герваська и тут нашелся.

– Я, сударь, слыхал, что за это больно наказывают, – возразил он, насупясь. – А то и мне все лезет в голову: пора барину в Царство Небесное!

Говорил Петр Петрович, что после такого неожиданно-дерзкого ответа сдержался он только ради чужого человека. Он сказал Герваське только одно: «Сию минуту выйди вон!» А потом даже устыдился своей горячности – и, торопливо извиняясь перед Войткевичем, поднял на него с улыбкой те очаровательные глаза, которых долго не могли забыть все знавшие Петра Петровича.

Слишком долго не могла забыть этих глаз и Наталья.

Счастье ее было необыкновенно кратко – и кто бы мог думать, что разрешится оно путешествием в Сошки, самым замечательным событием всей ее жизни?

Хутор Сошки цел и донине, хотя уже давно перешел к тамбовскому купцу. Это – длинная изба среди пустой равнины, амбар, журавль колодца и гумно, вокруг которого бахчи. Таким, конечно, был хутор и в дедовские времена; да мало изменился и город, что на пути к нему из Суходола. А провинилась Наташка тем, что, совершенно неожиданно для самой себя, украла складное, оправленное в серебро зеркальце Петра Петровича.

Увидела она это зеркальце – и так была поражена красотой его, – как, впрочем, и всем, что принадлежало Петру Петровичу, – что не устояла. И несколько дней, пока не хватились зеркальца, прожила ошеломленная своим преступлением, очарованная своей страшной тайной и сокровищем, как в сказке об аленьком цветочке. Ложась спать, она молила Бога, чтобы скорее прошла ночь, чтобы скорее наступило утро: празднично было в доме, который ожил, наполнился чем-то новым, чудесным с приездом красавца барчука, нарядного, напомаженного, с высоким красным воротом мундира, с лицом смуглым, но нежным, как у барышни; празднично было даже в прихожей, где спала Наташка и где, вскакивая с рундука на рассвете, она сразу вспоминала, что в мире – радость, потому что у порога стояли, ждали чистки такие легонькие сапожки, что их впору было царскому сыну носить; и всего страшнее и праздничнее было за садом, в заброшенной бане, где хранилось двойное зеркальце в тяжелой серебряной оправе, – за садом, куда, пока еще все спали, по росистым зарослям тайком бежала Наташка, чтоб насладиться обладанием своего сокровища, вынести его на порог, раскрыть при жарком утреннем солнце и насмотреться на себя до головокружения, а потом опять скрыть, схоронить и опять бежать, прислуживать все утро тому, на кого она и глаз поднять не смела, для кого она, в безумной надежде понравиться, и заглядывалась-то в зеркальце.

Но сказка об аленьком цветочке кончилась скоро, очень скоро. Кончилась позором и стыдом, которому нет имени, как думала Наташка... Кончилось тем, что сам же Петр Петрович приказал остричь, обезобразить ее, принарядившуюся, сурьмившую брови перед зеркальцем, создавшую какую-то сладкую тайну, небывалую близость между ним и собой. Он сам открыл и превратил ее преступление в простое воровство, в глупую проделку дворовой девчонки, которую, в затрапезной рубаше, с лицом, опухшим от слёз, на глазах всей дворни посадили на навозную телегу и, опозоренную, внезапно оторванную от всего родного, повезли на какой-то неведомый, страшный хутор, в степные дали. Она уже знала: там, на хуторе, она должна будет стеречь цыплят, индюшек и бахчи; там она спечется на солнце, забытая всем светом; там, как годы, будут долги степные дни, когда в зыбком мареве тонут горизонты и так тихо, так знойно, что спал бы мертвым сном весь день, если бы не нужно было слушать осторожный треск пересохшего гороха, домовитую возню насекомых в горячей земле, мирно-грустную переключку индюшек, не следить за набегающей сверху, жуткой тенью ястреба и не вскакивать, не кричать тонким протяжным голосом: «Шу-у!...» Там, на хуторе, чего стоила одна старуха хохлушка, получившая власть над ее жизнью и смертью и, верно, уже с нетерпением поджидавшая свою жертву! Единственное преимущество имела Наташка перед теми, которых везут на смертную казнь, – возможность удавиться. И только одно это и поддерживало ее на пути в ссылку, – конечно, вечную, как полагала она.

На пути из конца в конец уезда чего только она не насмотрелась! Да не до того ей было. Она думала или, скорее, чувствовала одно: жизнь кончена, преступление и позор слишком велики, чтобы надеяться на возвращение к ней! Пока еще оставался возле нее близкий человек, Евсей Бодуля. Но что будет, когда он сдаст ее с рук на руки хохлушке, переночует и уедет, навеки покинет ее в чужой стороне? Наплакавшись, она хотела есть. И Евсей, к удивлению ее, взглянул на это очень просто и, закусывая, разговаривал с ней так, как будто ничего не случилось. А потом она заснула – и очнулась уже в городе. И город поразил ее только скукой, сухью, духотой да еще чем-то смутно-страшным, тоскливым, что похоже было на сон, который не расскажешь. Запомнилось за этот день только то, что очень жарко летом в степи, что бесконечнее летнего дня и длиннее больших дорог нет ничего на свете. Запомнилось, что есть места на городских улицах, выложенные камнями, по которым престранно гремит телега, что издалека пахнет город железными крышами, а среди площади, где отдыхали и кормили лошадь, возле пустых под вечер «обжорных» навесов, – пылью, дегтем, гниющим сеном, клоки которого, перебитые с конским навозом, остаются на стоянках мужиков. Евсей отпряг и поставил лошадь к телеге, к корму; сдвинул на затылок горячую шапку, вытер рукавом пот и, весь черный от зноя, ушел в харчевню. Он строго-настрого приказал Наташке «поглядывать» и, в случае чего, кричать на всю площадь. И Наташка сидела не двигаясь, не сводила глаз с купола тогда только что построенного собора, огромной серебряной звездой горевшего где-то далеко за домами, сидела до тех пор, пока не вернулся жующий, повеселевший Евсей и не стал, с калачом под мышкой, снова заводить лошадь в оглобли.

– Припоздали мы с тобой, королевична, маленько! – оживленно бормотал он, обращаясь не то к лошади, не то к Наташке. – Ну да авось не удавят! Авось не на пожар... Я и назад гнать не стану, – мне, брат, барская лошадь подороже твоего хайла, – говорил он, уже разумея Демьяна. – Разинул хайло: «Ты у меня смотри! Я, в случае чего, догляжусь, что у тебя в портках-то...» А-ах! – думаю... Взяла меня обида поперек живота! С меня, мол, господа, и те еще не спускали портки-то... не тебе чета, чернотёбому. «Смотри!» А чего мне смотреть? Авось не дурей тебя. Захочу – и совсем не ворочусь: девку доправлю, а сам перехрещусь да потуда меня и видели... Я и на девку-то дивуюсь: чего, дура, затужила? Ай свет клином сошелся? Пойдут чумаки либо старчики какие мимо хутора – только слово сказать: в один мент за Ростовом-батюшкой очутишься... А там и поминай как звали!

И мысль: «удавлюсь» – сменилась в стриженной голове Наташки мыслью о бегстве. Телега заскрипела и закачалась. Евсей смолк и повел лошадь к колодцу среди площади. Там, откуда приехали, опускалось солнце за большой монастырский сад, и окна в желтом остроге, что стоял против монастыря, через дорогу, сверкали золотом. И вид острога на минуту еще больше возбуждал мысль о бегстве. Вона, и в бегах живут! Только вот говорят, что старчики выжигают ворованным девкам и ребятам глаза кипяченым молоком и выдают их за убогеньких, а чумаки возят к морю и продают нагайцам... Случается, что и ловят господу своих беглых, забивают их в кандалы, в острог сажают... Да авось и в остроге не быки, а мужики, как говорит Герваська!

Но окна в остроге гасли, мысли путались, – нет, бежать еще страшнее, чем удузиться! Да смолк, отрезвел и Евсей.

– Припоздали, девка, – уже беспокойно говорил он, вскакивая боком на грядку телеги.

И телега, выбравшись на шоссе, опять затряслась, забилась, шибко загремела по камням... «Ах, лучше-то всего было бы назад повернуть ее, – не то думала, не то чувствовала Наташка, – повернуть, доскакать до Суходола – и упасть господам в ноги!» Но Евсей погонял. Звезды за домами уже не было. Впереди была белая голая улица, белая мостовая, белые дома – и все это замыкалось огромным белым собором под новым бело-жестяным куполом, и небо над ним стало бледно-синее, сухое. А там, дома, в это время уже роса падала, сад благоухал свежестью, пахло из топившейся поварской; далеко за равнинами хлебов, за серебристыми тополями на окраинах сада, за старой заветной баней догорала заря, а в гостиной были отворены двери на балкон, алый свет мешался с сумраком в углах, и желто-смуглая, черноглазая, похожая и на дедушку и на Петра Петровича барышня поминутно оправляла рукава легкого и широкого платья из оранжевого шелка, пристально смотрела в ноты, сидя спиной к заре, ударяя по желтым клавишам, наполняя гостиную торжественно-певучими, сладостно-отчаянными звуками полонеза Огинского¹⁸ и как будто не обращая никакого внимания на стоявшего за нею офицера – приземистого, темноликого, подпиравшего талию левой рукою и сосредоточенно-мрачно следившего за ее быстрыми руками...

«У ней – свой, а у меня – свой», – не то думала, не то чувствовала Наташка в такие вечера с замиранием сердца и бежала в холодный, росистый сад, забивалась в глушь крапивы и остро пахнущих, сырых лопухов и стояла, ждала несбыточного, – того, что сойдет с балкона барчук, пойдет по аллее, увидит ее и, внезапно свернув, приблизится к ней быстрыми шагами – и она не проронит от ужаса и счастья ни звука...

А телега гремела. Город был вокруг, жаркий и вонючий, тот самый, что представлялся прежде чем-то волшебным. И Наташка с болезненным удивлением глядела на разряженный народ, идущий взад и вперед по камням возле домов, ворот и лавок с раскрытыми дверями... «И зачем поехал тут Евсей, – думала она, – как решился он греметь тут телегой?»

Но проехали мимо собора, стали спускаться к мелкой реке по ухабистым пыльным косо-горам, мимо черных кузниц, мимо гнилых мещанских лачуг... Опять знакомо запахло пресной теплой водой, илом, полевой вечерней свежестью. Первый огонек блеснул вдали, на противоположной горе, в одиноком домишке близ шлагбаума... Вот и совсем выбрались на волю, переехали мост, поднялись к шлагбауму – и глянула в глаза каменная пустынная дорога, смутно белеющая и убегающая в бесконечную даль, в синь степной свежей ночи. И лошадь пошла мелкой рысцой, а миновав шлагбаум, и совсем шагом. И опять стало слышно, что тихо, тихо ночью и на земле и в небе, – только где-то далеко плачет колокольчик. Он плакал все слышнее, все певучее – и слился наконец с дружным топотом тройки, с ровным стуком бегущих по шоссе и приближающихся колес... Тройкой правил вольный молодой ямщик, а в бричке, уткнувши подбородок в шинель с капюшоном, сидел офицер. Поравнявшись с телегой, на мгновение поднял он голову – и вдруг увидела Наташка красный воротник, черные усы, молодые глаза,

¹⁸ *Огинский* Михаил Клеофас (1765–1833) – польский композитор.

блеснувшие под каской, похожей на ведро. Она вскрикнула, помертвела, потеряла сознание...

Озарила ее безумная мысль, что это Петр Петрович, и по той боли и нежности, которая молнией прошла ее нервное дворовое сердце, она вдруг поняла, чего она лишилась: близости к нему... Евсей кинулся поливать ее стриженую, отвалившуюся голову водой из дорожного жбана.

Тогда она очнулась от приступа тошноты и торопливо перекинула голову за грядку телеги. Евсей торопливо подложил под ее холодный лоб ладонь...

А потом, облегченная, озябнувшая, с мокрым воротом, лежала она на спине и смотрела на звезды. Перепугавшийся Евсей молчал, думая, что она уснула, – только головой покачивал, – и погонял, погонял. Телега тряслась и убегала. А девчонке казалось, что у нее нет тела, что теперь у нее – одна душа. И душе этой было «так хорошо, ровно в Царстве Небесном»...

Аленьким цветочком, расцветшим в сказочных садах, была ее любовь. Но в степь, в глушь, еще более заповедную, чем глушь Суходола, увезла она любовь свою, чтобы там, в тишине и одиночестве, побороть первые, сладкие и жгучие муки ее, а потом надолго, навеки, до самой гробовой доски схоронить ее в глубине своей суходольской души.

VI

Любовь в Суходоле необычна была. Необычна была и ненависть.

Дедушка, погибший столь же нелепо, как и убийца его, как и все, что гибли в Суходоле, был убит в том же году. На Покров, престольный праздник в Суходоле, Петр Петрович назвал гостей – и очень волновался: будет ли предводитель, давший слово быть? Радостно неизвестно чему волновался и дедушка. Предводитель приехал – и обед удался на славу. Было и шумно и весело, дедушке – веселее всех. Рано утром второго октября его нашли на полу в гостиной мертвым.

Выйдя в отставку, Петр Петрович не скрыл, что он жертвует собою ради спасения чести Хрущевых, родового гнезда, родовой усадьбы. Не скрыл, что хозяйство он «поневоле» должен взять в свои руки. Должен и знакомства завести, дабы общаться с наиболее просвещенными и полезными дворянами уезда, а с прочими – просто не порывать отношений. И сначала все в точности исполнял, посетил даже всех мелкопоместных, даже хутор тетюшки Ольги Кирилловны, чудовищно-толстой старухи, страдавшей сонной болезнью и чистившей зубы нюхательным табаком. К осени уже никто не дивился, что Петр Петрович правит именем единовластно. Да он и вид имел уже не красавчика офицера, приехавшего на побывку, а хозяина, молодого помещика. Смущаясь, он не заливался таким темным румянцем, как прежде. Он выходился, пополнел, носил дорогие архалуки, маленькие ноги свои баловал красными татарскими туфлями, маленькие руки украшал кольцами с бирюзой. Аркадий Петрович стеснялся смотреть в его карие глаза, не знал, о чем с ним говорить, первое время во всем уступал ему и пропадал на охоте.

На Покров Петр Петрович хотел очаровать всех до единого своим радушием, да и показать, что именно он первое лицо в доме. Но ужасно мешал дедушка. Дедушка был блаженно-счастлив, но бестактен, болтлив и жалок в своей бархатной шапочке с мощей и в новом, не в меру широком синем казакине, сшитом домашним портным. Он тоже вообразил себя радушным хозяином и суетился с раннего утра, устраивая какую-то глупую церемонию из приема гостей. Одна половинка дверей из прихожей в залу никогда не открывалась. Он сам отодвинул железные задвижки и внизу и вверх, сам придвигал стул и, весь трясясь, влезал на него; а распахнув двери, стал на порог и, пользуясь молчанием Петра Петровича, замиравшего от стыда и злобы, но решившегося все претерпеть, не сошел с места до приезда последнего гостя. Он не сводил глаз с крыльца, – и на крыльцо пришлось отворить двери, этого тоже будто бы

требовал какой-то старинный обычай, – топтался от волнения, завидя же входящего, кидался к нему навстречу, торопливо делал па, подпрыгивал, кидая ногу за ногу, отвешивал низкий поклон и, захлебываясь, всем говорил:

– Ну, как я рад! Как я рад! Давненько ко мне не жаловали! Милости прошу, милости прошу!

Бесило Петра Петровича и то, что дедушка всем и каждому зачем-то докладывал об отъезде Тонечки в Лунево, к Ольге Кирилловне. «Тонечка больна тоской, уехала к тетеньке на всю осень» – что могли думать гости после таких непрошенных заявлений? Ведь история с Войткевичем, конечно, уже всем была известна. Войткевич, может статься, и впрямь имел серьезные намерения, загадочно вздыхая возле Тонечки, играя с ней в четыре руки, глухим голосом читая ей «Людмилу»¹⁹ или говоря в мрачной задумчивости: «Ты мертвецу святыней слова обручена...»²⁰ Но Тонечка бешено вспыхивала при каждой его даже самой невинной попытке выразить свои чувства, – поднести, например, ей цветок, – и Войткевич внезапно уехал. Когда же уехал, Тонечка стала не спать по ночам, в темноте сидеть возле открытого окна, точно поджидая какого-то известного ей срока, чтобы вдруг громко зарыдать – и разбудить Петра Петровича. Он долго лежал, стиснув зубы, слушая эти рыдания да мелкий, сонный лепет тополей за окнами в темном саду, похожий на непрерывный дождик. Затем шел успокаивать. Шли успокаивать и заспанные девки, иногда тревожно прибегал дедушка. Тогда Тонечка начинала топтать ногами, кричать: «Отвяжитесь от меня, враги мои лютые!» – и дело кончалось безобразной бранью, чуть не дракой.

– Да пойми же ты, пойми, – бешено шипел Петр Петрович, выгнав вон девок, дедушку, захлопнув дверь и крепко ухватясь за скобку, – пойми, змея, что могут вообразить!

– Ай! – неистово взвизгивала Тонечка. – Папенька, он кричит, что я брюхата.

И, вцепившись себе в голову, Петр Петрович кидался вон из комнаты.

Очень тревожил на Покров и Герваська. Как бы не нагрубил при каком-нибудь неосторожном слове.

Герваська страшно вырос. Огромный, нескладный, но и самый видный, самый умный из слуг, он тоже был наряжен в синий казакин, такие же шаровары и мягкие козловые сапоги без каблуков. Гарусный лиловый платок повязывал его тонкую темную шею. Черные, сухие, крупные волосы он причесал на косой ряд, но остричься под полку не пожелал – подрубил их в кружок. Брить было нечего, только два-три редких и жестких завитка чернело на его подбородке и по углам большого рта, про который говорили: «Рот до ушей, хоть завязочки пришей». Будылястый²¹ очень широкий в плоской костлявой груди, с маленькой головою и глубокими орбитами, тонкими пепельно-синими губами и крупными голубоватыми зубами, он, этот древний ариец, парс²² из Суходола, уже получил кличку: Борзой. Глядя на его оскал, слушая его покашливания, многие думали: «А скоро ты, Борзой, издохнешь!» Вслух же, не в пример прочим, величали молокососа Гервасием Афанасьевичем.

Боялись его и господа. У господ было в характере то же, что у холопов: или властвовать, или бояться. За дерзкий ответ дедушке в день приезда Петра Петровича Герваське, к удивлению дворни, ровно ничего не было. Аркадий Петрович сказал ему кратко: «Положительно скотина ты, брат!» – на что и ответ получил очень краткий: «Терпеть его не могу я, сударь!» А к Петру Петровичу Герваська сам пришел: стал на порог и, по своей манере, развязно осев

¹⁹ «Людмила» – баллада В. А. Жуковского.

²⁰ «Ты мертвецу святыней слова обручена...» – неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Любовь мертвеца».

²¹ Будылястый – от слова «будыль» – голень, кость, то есть костистый.

²² Парс. – Парсы – огнепоклонники, выходцы из Персии, ныне живущие в Индии, последователи пророка Зороастра (не позднее 1000 г. до н. э.); в его учении – противопоставление двух вечных начал: добра и зла. Бунин, говоря о парсах, подчеркивает этим приверженность Герваськи всему злему, что было в жизни.

на свои несоразмерно с туловищем длинные ноги в широчайших шароварах, углом выставив левое колено, попросил, чтобы его выпороли.

– Очень я грубиян и горячий, сударь, – сказал он безразлично, играя черными глазищами.

И Петр Петрович, почувствовав в слове «горячий» намек, струсил.

– Успеется еще, голубчик! Успеется! – притворно-строго крикнул он. – Выйди вон! Я тебя, дерзкого, видеть не могу.

Герваська постоял, помолчал. Потом сказал:

– Есть на то воля ваша.

Постоял еще, крутя жесткий волос на верхней губе, поскалил по-собачьи голубоватые челюсти, не выражая на лице ни единого чувства, и вышел. Твердо убедился он с тех пор в выгоде этой манеры – ничего не выражать на лице и быть как можно более кратким в ответах. А Петр Петрович стал не только избегать разговоров с ним, но даже в глаза ему смотреть.

Так же безразлично, загадочно держался Герваська и на Покров. Все сбились с ног, готовясь к празднику, отдавая и принимая распоряжения, ругаясь, споря, моя полы, чистя синеющим мелом темное тяжелое серебро икон, поддавая ногами лезущих в сенцы собак, боясь, что не застынет желе, что не хватит вилок, что пережарятся налевашники, хворостики; один Герваська спокойно ухмылялся и говорил бесившемуся Казимиру, алкоголику-повару: «Потише, отец дьякон, подрясник лопнет!»

– Смотри не напейся, – рассеянно, волнуясь из-за предводителя, сказал Герваське Петр Петрович.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.